

ДО И ПОСЛЕ

Литературный альманах



12+1' 2009

ДО И ПОСЛЕ

Литературный альманах

12 + 1' 2009



Руководитель проекта
ИОСИФ ВАРДИ

Редакционная коллегия:
ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ (гл. редактор),
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ,
ДАВИД ЯНОВСКИЙ,
КАРЛ АБРАГАМ.

Макет и оформление
ИОСИФ МАЛКИЭЛЬ

Альманах иллюстрирован работами
ИРИНЫ ДМИТРЕНКО
(см. статью на стр. 173)

Произведения, представленные
на страницах Альманаха,
публикуются впервые.

Права авторов сохранены. При перепечатке
ссылка на Альманах обязательна.

ISBN 6-889-42-07

БЕРЛИН, 2009

ОТ РЕДАКЦИИ

Очередной номер нашего *Альманаха* и, следовательно, *число лет его существования* – *тринадцать*. Почти в каждом из нас таится некое предубеждение по отношению к этому числу. Поэтому, на всякий случай, мы решили присвоить этому выпуску не совсем обычный номер, а именно: *«Двенадцать плюс один»*.

Любой читатель, владеющий начальным знанием арифметики, легко вычислит истинную величину этой суммы.

Ниже мы предлагаем некоторые материалы о суеверии – и для взрослых, и для детей.

Следует обратить ваше внимание, что в каббалистической традиции упомянутое число выглядит более чем положительно.

Вот небольшая выдержка из текста об этом числе.

КАББАЛА О ЧИСЛЕ ТРИНАДЦАТЬ

Употребление чисел:

Буквы древнееврейского алфавита замещаются числами и обратно. Цифры, по желанию, складываются...

О числе тринадцать

Существует сходство между словами, сумма чисел которых одинакова; это доказывается словами *Ахат* и *Ахава*, сумма чисел которых по-еврейски равняется *тринадцати* и которые означают: первое – *единение*, а второе – *любовь*, предназначенную для восстановления разрушенного единства.

Впрочем, 13 есть число вечной любви, изображаемой Иаковом с сыновьями...

При этом замечательно, что слагая его, приходишь к корню 4 (1 + 3), соответствующему святому Имени Яхве *ИЕВЕ* – *началу жизни и любви*.

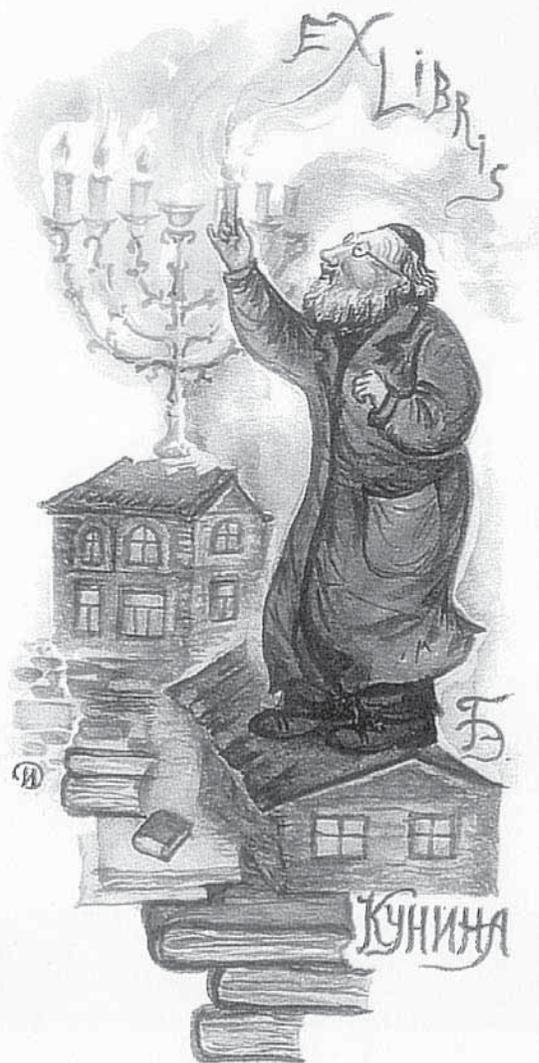
Источник:

Патюс. «Каббала, или наука о Боге, Вселенной и человеке».

ЛОКИД-ПРЕСС, Москва, 2001, стр. 319. Коллекция «Сфинкс», перевод с французского.

ДО И ПОСЛЕ

поэзия и проза



МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН

ГЕФИЛЬТЭ ФИШ

«...холодная фаршированная рыба хреном» – это «блюдо, ради которого стоит принять иудейство»

Исаак Бабель

Сарра Хаимовна, а в миру, Софья Харитоновна славилась на весь маленький городок своей фаршированной рыбой, и секрет её приготовления держала за семью печатями. Все евреи городка готовили гефилтэ фиш, но её рыба была что-то «особенова».

Когда некоторые рассказывали о приготовлении рыбы с костями, она возмущённо фыркала, как обиженная кошка.

– Если гефилтэ фиш делают с костями, нарушая законы субботы, - вздыхала она, – так а зохен вей нашим евреям.

Софья Харитоновна была чуть старше женщин, как говорят, «Бальзаковского возраста». Судьба наделила её твёрдым характером и решения она принимала быстро, не чураясь крепких выражений. Высокий рост и, тем не менее, лёгкая походка, крутые бёдра, обтянутые узкой юбкой, выдающийся бюст, очень волновали провинциальных Дон Жуанов. Встречая её, они оборачивались и долго, долго смотрели вслед, причмокивая языками.

Гладкая причёска чуть седеющих волос, маленькая родинка у верхней губы и яркая одежда выделяли её в гуляющей толпе.

Исаак Пинхасович, в миру Исидор Петрович – вдовец, бабник и гурман, был известен в городке, как отменный кулинар. Его штрудель, мясо с черносливом, и тейгалах, были тоже что-то «особенова» и вкус их считался непревзойдённым.

Но фаршированная рыба – еда царицы субботы, ему не давалась. Он перечитал уйму книг, придумывал новые рецепты, но всё же дотянуть до Сарриной рыбы, как не старался, не мог. Нет,... она, конечно, тоже была вкусной, но не то...! Не то, и это тоже знал весь городок.

Исидор Петрович, крепкий мускулистый мужик совсем маленького ро-

сточка с лысиной до самого затылка и кривыми ногами напоминал куст саксаула.

Скуластое лицо с маленькими глазками, крепко сжатыми губами, отдалённо напоминало голову готового к атаке Питбуля. Весь его облик говорил об упрямстве, хитрости и умении достигать поставленной цели.

В один июльский вечер Исидор, попробовав свою рыбу, хлопнул по столу ладонью и воскликнув – Генуг! Анек! И заторопился в цветочную лавку. Купив большой букет, побежал к дому Софьи Харитоновны и положил цветы у двери квартиры. Каждое утро на её пороге лежал роскошный букет свежих цветов. Куда бы Софья ни шла, ей попадался Исидор Петрович. Сердце у него ёкало, на душе теплело, и он смотрел ей в глаза с таким неприкрытым желанием, что дыхание немолодой дамы учащалось, а лицо покрывалось румянцем. На третий день она резко остановилась и сказала:

– Ви на мне смотрите, как о той кот на масло, – и, помолчав, добавила, – хотите познакомиться, так я уже согласная. Мене зовут Соня.

– А меня Исидор, – поспешил ответить бывший Исаак. Сара сникла. «Он не из наших», пронзила её мысль. Исидор всё понял и быстро сказал:

– Нет, нет! Это теперь, а раньше я был Ицък.

– Это другое дело, – сказала Сара, и решительно взяв его под руку, повела по правой стороне центральной улицы, потому что по левой гуляли биндожники, сапожники, нищие, бездомные, и как она говорила, всякий шлеперский элемент...

– Что тебе приготовить на ужин Исачёк? – тяжело дыша, спросила Сарра?

– А что вам не жалко для такого влоблённого, как я? – Соню-юра моя, – вытянув трубочкой губы, ответил Исидор, и лицо его стало похожим на добро-го кок-спаниеля.

– Я таки да сделаю тебе гефильтэ фиш, – ещё тяжелее задышала женщина.

После знаменитой рыбы и нескольких бокалов лёгкого вина Соня встала и направилась в спальню. В дверях она загадочно сказала:

– Я тебя позову Исачёк и, послав воздушный поцелуй, захлопнула дверь.

Сонюра встретила его обнажённой, лёжа на постели поверх покрывала.

– Лягайте до мене, будьте такие добренькие.

Он быстро сбросил одежду, лёг рядом, продолжая восхищаться её домом, её телом и её рыбой.

– Не надо этих подготовок, не надо этих глупостей, – обижено заметила женщина. Если ты хочешь поговорить, лягай повыше, если ми будем заниматься делом, так лягай пониже.

И разочарованный Исидор, таки лёг «пониже» и таки занялся делом. Довольная Сарра, отдышавшись, спросила:

– Ты что-то говорил, мой Исачёк? Повтори, пожалуйста. И он подробно стал рассказывать, как сам готовит рыбу.

– Ёлд! – воскликнула Соня, – это у вас под Рыбницей так готовят гэфильтэ фиш. Мою маму в Одессе на Молдаванке учили по-другому, и она подробно изложила классический рецепт. Исачёк, а ныне Исидор ликовал. За таив дыхание, он слушал волшебную музыку её слов, судорожно пытаясь запомнить все нюансы. Затем выскочил в другую комнату, быстро записал на салфетке кулинарную исповедь. Вернувшись к Соне, лёг повыше и долго восхищался её прелестями.

– Исаак... – шептала разомлевшая женщина, у тебя такие ласковые руки, может быть, ещё раз займёмся делом, а?

– Сонюрочка, рибка моя! Мне пора, а то голодная собака разнесёт дом. И чмокнув её чуть ниже груди, куда смог достать, стал одеваться. Соня, разочаровано вздохнула и отвернулась к стене.

У Исаака собаки не было, он спешил на базар купить свежую рыбу.

Через некоторое время по городку поползли упорные слухи, что фаршированная рыба Исидора не хуже, а может быть и лучше чем у Сарры. Услышав это, расшвирипевшая женщина долго не могла успокоиться. Пнев, обида, ненависть травили ей душу. На третий день, надев лучшее платье, сделав причёску у самого дорогого парикмахера, с небольшим чемоданчиком направилась к Исачку, не забыв захватить палку, на случай если встретит собаку. Чем ближе Сарра приближалась к его дому, и тем сильнее её дыхание учащалось и где-то с левой стороны груди под пышным бюстом что-то шептало ей, что несётся она к нему не только, чтобы отомстить за кулинарный плагиат.

– Открывай дверь, мопс обрезанный, ты мне сделал вырванные годы – кричала женщина, барабанила в дверь палкой, – и придержи собаку!

Бледный Исидор распахнул дверь.

– Не бойся моя Соню-юра, – вытянул губы Исачёк, – собака подавилась рыбьей косточкой и здохла. Обхватив женщину, чуть пониже талии, он пытался поцеловать её в живот. – Сонечка, ты такая красивая, такая душистая, – лепетал похититель секретов.

– Я тебе дам, красивая! – кричала Соня, пытаясь оглушить его палкой, – а ну собирайся, мопс плешивый, сейчас мы, таки да, пойдём в загс и распишемся! – орала она.

– Тихо, тихо, кто же отказывается, кто же не хочет, Сонюрка, рибка моя фаршированная. Я уже согласный.

С этих пор слухи о потрясающем вкусе штруделя, наваристого бульона с kneйдалах, жареной курицы в сливовом соусе и, конечно же, фаршированной рыбе, что подавали на званых обедах молодожёны, ходили по городку, просачивались в райцентр, а может быть даже и в сам Гайворон.

ВЕСЕННЯЯ ПАСТОРАЛЬ

Спрыгнув с ледника, Ручей понёсся вниз. Он змеился по склону, ловко обходил препятствия. Сталкиваясь с обломками скал, вскипал пеной и нёсся дальше, выискивая кратчайшие пути к своей возлюбленной – Реке.

Ручей любил ее, и она отвечала ему взаимностью. Им доводилось встречаться только весной, а иногда и осенью. Так распорядилась природа, но Река этого не знала. Она ждала его. Раскрыв объятия, поднималась всё выше и выше по склону к нему навстречу. Затопив пойму, билась от нетерпения о скалы, пытаясь просочиться сквозь них, неслась по улицам окрестных деревень, превращая в островки с торчащими над водой деревьями. Миг встречи близился. Ещё издали, увидев свою возлюбленную, Ручей что-то кричал ей, но грохочущая коллекция тщательно подобранной в подарок цветной гальки заглушала его голос. Река была дамой много старше своего возлюбленного и любила дорогие украшения. Ревнуй его к каждой былинке, тем не менее, всегда прощала. Ей нравилась его солнечность, искристость, веселый нрав и темперамент. К вечеру, когда солнце пряталось за вершину, пыл его угасал и утомлённый Ручей засыпал у неё на груди. А утром, когда солнце начинало припекать, он пробуждался, вопил о любви, рокотал, выходил из берегов. И не было более сладких мгновений у пожилой дамы, чем те, когда юный любовник, порождая ответное желание, бросался в её объятия с такой силой, что вокруг всё бурлило, перекатывало валуны и с рёвом обрушивало вниз.

Молодой возлюбленный – это и радость, и восторг, и счастье, но и постоянные мысли, которые, гложут сердце даже в минуты близости.

«А что будет дальше, сколько ещё вёсен я буду желанной этому сорванцу? – думала Река, – годы и время бегут, когда хочешь их остановить, но они замирают, останавливаются, когда считаешь дни до встречи с любимым. Я всё шире и шире разливаюсь, моё тело теряет упругость, а в поймах появилась тина. Сколько ещё лет он не будет замечать моего дряхления? Может быть сейчас, на пике наших отношений, прекратить встречи и жить только воспоминаниями, чтобы не видеть, как он остаётся, равнодушен к моёмu стареющему телу, как от малейшего ветерка по поверхности бегут морщины, как зарастают зелёной тиной мои роскошные поймы. Или всё же всегда ждать и ловить его любовь, пока он так щедро дарит мне ласки? Ах! – плеснула она волной, – вечная дилемма старость – и молодость. Ещё девочкой, мне было, лет 500 – 600 и моим изящным течением любовалась вся округа, а в хрустальной воде резвились форели, я любила в Утёс, венчавший горную вершину. Он был громаден, его махина нависала над моими водами, и мне казалось, что он хочет меня поцеловать. Обросший лесом, в белоснежной шляпе, извергавший то лавины, то сели, от гнева которого

ломались вековые деревья, ущельями раздвигались горы, рождались и умирали реки, Утёс был великолепен. Я проносила мимо, волнами лизала его гранитное основание и первая решилась признаться в любви. Он нахмурился, заворчал и завернулся в непроницаемый плащ облаков. Несколько дней он молчал, только где-то вверху рокотал гром, вспыхивали молнии и по ущельям проносились редкие камнепады.

«Милая, – ответил он, – как сладостно слышать эти слова от прекрасной юности и как горько сознавать, что мои столетия сочтены. Посмотри, что делают люди: они рубят заповедные леса на моих плечах, строят дороги на моём теле, и моя белоснежная шляпа темнеет от пыли. А самое главное – они вгрызаются штольнями в моё тело в поисках кладовых с Ураном. Когда его найдут, от меня ничего не останется. Да и всем будет худо» – вздохнул Утёс.

Прошло очень много лет, горная вершина превратилась в жалкий холм, а я в преклонном возрасте влюбилась в юношу. Круг замкнулся. Великая природа любит подшутить. Но, не я первая, не я последняя. Конечно же, буду ждать следующей весны, буду ловить его любовь до конца, пока ему не надоест, пока он не пробьёт себе новое русло к молодой сопернице. Будь что будет! – вздыхала Река, обнимая молодого любовника, – ещё скоро разлука на целый год, разве от этих мыслей молодеешь?»

– Когда встретимся, милый? – спросила она

– Весной, любимая, весной. Весна длинная, три месяца. Это от меня не зависит.

– А от кого?

– От солнца! И от людей, – печально добавил Ручей.

«Причём здесь солнце?! Люди! – думала она, ещё сильнее сжимая его в объятиях. Соизмеряя свою силу, своё могущество с жалкими человеческими возможностями, Река возмутилась: «Лукавит!» И плеснув волной о берег, смела сложенные пирамидкой, переливающиеся всеми цветами радуги драгоценные камни – подарки юного любовника.

Весна набирала силу. Большую часть суток солнце оплетало землю теплом и светом. Ручей почти не засыпал, а дарил и дарил ласки возлюбленной. Она отвечала ему тем же и знала, так бывает всегда, перед разлукой. Скоро он исчезнет на целый год.

Вверху по течению ручья у входа в небольшую предгорную долину злые люди строили запруду, но Река этого не знала.

Настало время перегонять стада на летние пастбища.

Запруда поднималась...

Ручей кипел, клокотал от злости, звал возлюбленную, ударив по основанию, разрушил препятствие и, перехлёстнув через развалины, понёсся вниз. Но люди были сильнее. Они ещё выше подняли запруду. Ручей не сдавался, крутил водовороты, носился вдоль берегов, но вырваться на свободу

не мог. Люди были довольны своей работой, да ещё овцы наслаждались в жару холодной ледниковой водой.

Река много старше своего возлюбленного, а потому мудрее, по опыту знала, что только работа, заброшенная по весне, успокоит и даст силы пережить целый год. И как обычно, понесла на своих волнах к морю сигаровидные связки брёвен, плоты, баржи и пароходы.

ОСЕННЯЯ ПАСТОРАЛЬ

Заблудившись в Бабьем лете, стрекоза тяжело опустилась на жёлтый лист платана. Лёгкий ветерок тихо покачивал его. Пытаясь удержаться, она прижималась лапками к шершавой поверхности, но продолжала скользить. С трудом оттолкнувшись, решила взлететь, но зацепилась коготком одной из лапок за прожилку листа, повисла вниз головой и безжизненно опустила крылышки. Внезапно порыв ветра сдул её, оставив без одной лапки. Превозмогая боль, стрекоза собрала силы и всё-таки полетела. Обогнув ветку, укрылась на стволе дерева с подветренной стороны, где было теплее. Слабея, она понимала, что кончилось лето и кончается её жизнь. А вокруг закатными красками разгоралась осень: пунцовые, красные, розовые соцветия герани на соседнем балконе отражались в огромных полушариях её глаз. Стрекозе казалось, что жизнь продолжается, сейчас прилетят подруги и закружат её в бесконечных хороводах. Ночью стало совсем холодно. Прижималась к стволу, пыталась согреться, но, он был холодный и влажный. Тогда она вспоминала о большом чёрном жуке, предлагавшем ей руку и сердце. Он был домовит, аккуратен, его хитиновый панцирь всегда блестел и среди соседей слыл он интеллектуалом. Влюбленные бабочки всей округи слетались к его норке послушать рассуждения об охране окружающей среды. Но большое сердце брюнета навсегда было отдано другой, самой красивой, самой элегантной и самой сексуальной.

Бабочки не теряли надежды, что он все-таки предпочтёт одну из них, а может быть нескольких сразу, хотя это и не приветствовалось в обществе. Они старались создать ему комфортные условия, крыльями закрывая жука от солнца. Он не любил жару и сильно потел.

Жгучий красавец, поклонник учения академика Лысенко, был убеждён, что продлит отпущенный природой срок жизни любимой, создав зимой в их жилище среду летних месяцев. «Уж для этого я сделаю всё, уж я постараюсь», – думал жук.

Он вырыл просторную норку, где стрекоза могла всю зиму упражняться в танцах, чтобы к весне не потерять квалификацию. К потолку подвесил светлячков, пол устлал тополиным пухом, кладовку заполнил едой и стал

ждать решения своей возлюбленной. Стрекоза с печалью вспомнила их последнюю встречу.

На цветке фиалки жук преподнёс ей трёх жирных тлей и сказал:

– Красавица моя, колдунья, вы разбиваете мне сердце, скоро зима, пора определяться и принимать решение, – жужжал жук.

– О! Мой верный рыцарь, я ценю вашу верность и заботу, – пританцовывая, отвечала она, но ещё не пришло время, ещё стоит такая теплынь, смотрите, как красиво и весело вокруг, давайте потанцуем!

– Работы много, – буркнул жук и добавил, – моя норка всегда открыта для вас. Выпростав из-под панциря крылья, с обидой зажужжал и улетел.

Всемогущая природа вопреки теории Лысенко делала своё дело. Жук становился вялым, ему трудно было двигаться, и он не заметил, как впал в зимнюю спячку. Замуровать норку он всё-таки успел.

А вчера стрекоза добралась до его жилища, и долго стучала слабой лапкой по затвердевшей глине, но жук уже ничего не слышал. Ему снилась блистательная стрекоза, вальсирующая на цветах, и её хрустальные крылышки озарялись светом в конце туннеля его зимы. Сердце жука начинало учащённо биться, едва не пробудив его не ко времени.

Стрекоза с трудом добралась до своего дерева. Последним багрянцем одевались деревья. Ярко светило холодное солнце, осень кончалась. Мгновение ей казалось, что жизнь продолжается, но только один миг. Стрекоза поняла – ей пора. Набравшись сил, она оторвалась от коры дерева, взлетела, резко понеслась вверх и растворилась в холодной синеве.

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Дождя проиграна игра,
пронзительнее ветра шёпот,
и начинается небо штопать
костёла острая игла.

Окрашен в кобальт небосвод,
народа высыпала масса,
его тягучая замазка
плывёт. Дышать невпроворот.

Все марафоном напрямик,
как предлагают улиц стрелы.
Лишь только я толкаю тело,
как мне начертано, — в тупик.

ДЕКАБРЬСКИЙ БЕРЛИН

Дождь угасает понемногу,
как музыкант фальшивит.
С утра предстал он длинноногим,
лихим, бравурным ливнем.

А к вечеру — совсем как карлик
с поникшей головою.
И сыплет, словно через марлю,
он манною крупую...

Так ковыляет по Берлину
декабрь походкой вялой.
Прохожие, с угрюмой миной,
бредут, куда попало.

И просят угостить морозом,
о снеге и не мыслят.
Но календарь им виртуозно
зимы листает числа.

ТАНЕЦ ВЕТРА

Стремительно и неуёмно
он ёрничал, свистел и выл.
Раскрепощёно и нескромно
раскинул ширь незримых крыл.

И налетая на деревья,
он с веток листья обрывал.
Закончить не желал кочевье
и увеличивал накал.

И люди жались к подворотням,
летели птицы градом вниз.
А ветер мчался беззаботно,
как будто был он пьяным вдрызг.

Я чёрной завистью томимый,
поспорить с ним таил мечту...
Но жизнь проходит робко мимо
и тычет носом в пустоту.

ГРОЗА

Принялись хором коровы мычать, —
паника в стадном народе.
Сбилась рогатых взволнованных рать, —
значит, гроза на подходе.

Замерли вдруг, словно ввали в гипноз,
мордами вниз, от испуга.
И оставляют на поле навоз,
для украшения луга.

С ветром приносит свой запах гроза
и восхитительный грохот.
Но отказали дождю тормоза.
Молнии спелят сполохи.

ОКТАБРЬ

Октябрь вступил в свои права.
Всё ощутимее прохлада,
и как небесная награда,
пробился луч едва-едва..

Но вот уснули фонари
и опустели парки, скверы.
Туманы – осени курьеры
нам шлют привычно октябри.

И гонят прочь: домой пора.
Крадётся шёпотом, без стука,
душой повелевая, скука,
и остаётся до утра.

Полночный слышен тарарам.
И утром, растопырив взгляды,
мы видим похоть листопада
в тандеме с ветром пополам.

ИЗ ДЕТСТВА...

Давно это было.
О, как это было давно.
В сознании всплыло,
как лента немого кино.

Романтик-мальчишка, —
я этой истории рад.
В потрёпанной книжке
жил кок — одноногий пират.

Сокровища ищут
лихие матросы и Джим.
Я книжную пищу
глотал и завидовал им.

Тропа приключений:
ошибок, коварства, удач.
Стремительно время
старалось интригу напрячь.

Как всё это мило:
и шхуна, и остров, и... Но
давно это было.
О, как это было давно.

МЕТАМОРФОЗЫ СЛОВ

«Слова не знают — зачем их пишут»
Мария Петровых

Скрепляют словом мечты и звуки,
порой охотно, порой со скуки.
В душе блуждают слепым мышонком,
но с губ слетают легко и звонко.

Словами часто как плугом пашут,
воображеньем торгуют нашим.
Стихи слагает словами Мастер,
неопалимой пылая страстью.

Слова скандальны, дерзки и робки,
и поминальны, как горечь стопки.
Косноязычны, изящны, льстивы,
неудержимы, как град и ливень,

как приговоры, как талисманы,
как липкий пластырь для рваной раны.
Их скорость выше полёта пули,
пчелы, что слепо находит улей.

Они смолкают, немеют строго,
когда ничем нам помочь не могут.

КОШКИ-МЫШКИ

(басня)

Приснился коту из щелей ускользнувший рассвет,
подвальная тьма и царапавший шорох мышонка.
Лишь слышится писк уловимый, заманчиво-тонкий,
который коту предвещает обильный обед.

Кот встал, потянулся и к цели на брюхе пополз.
Прожекторы глаз устремил в глубину плотоядно,
и тело своё для прыжка подготовил он ладно,
а запах мышинный ему ароматнее роз.

Притихший мышонок забился поглубже в нору,
и смерть ожидая, почти задохнулся от страха.
Кот резко рванул и на шкаф налетевши с размаха,
от света проснулся, что бил из окна поутру...

Так кажется многим: до счастья остался прыжок,
забыв, что судьбой нашей правит Всевидящий Бог!

НА ВАНЗЕЕ*

Луна распласталась на глади Ванзее,
пришпилена жёлтой заплатой.
Лежит и не тонет, и сладостно млеет,
вдыхая ночей ароматы.

И дела ей нет, что у берега пару
в мечту она ввергла задорно.
Лишились они разговорного дара,

под шёпот водицы озёрной.

Ванзее украшено праздником лунным,
но только, как будто случайно,
здесь тёмные блики, как древние руны,
хранят свои вечные тайны.

**Озеро между Берлином и Потсдамом*

АЛЛЮЗИЯ*

«Не страстно в сумрачную высь
уходит рокот фортепьянный»
Ин. Анненский «Он и Я». 1907.

«Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это – сон!»
О.Мандельштам «Концерт на вокзале». 1921.

Глоток Поэзии благоуханной,
Что ночью светел, лучезарно чист,
Блуждает словно рокот фортепьянный,
И не стремится в сумрачную высь.

Не тяжек мне ни «Камень»** Мандельштама,
Ни «Тихих песен»*** шёпотная даль.
Поэзия Возвышенного Храма
Павлиньим криком скомкала печаль.

Глотком такой Поэзии обласкан,
Я в нём кружусь, как в бесконечном сне.
В котором нет загадки, тайны, маски,
И никогда не надоеет он мне.

*Аллюзия – словосочетание литературного и мифологического порядка..

** «Камень» – книга стихов О.Э. Мандельштама.

*** «Тихие песни» – книга стихов И.Ф. Анненского

ТЁРНЕР

Английский живописец Джозеф Тёрнер
намного раньше, чем Моне и чем Уистлер*,
поймал сиюминутно, иллюзорно
дыхание природы, стон и мысли.

Он разгадал эффекты освещения,
морей и неба страсти и печали,
и перспектив ночных горизонтали,
и шёпот ветра, восходящий к пенью.

Писал туманы, ливни и приливы,
сумятицу в любое время года.
Оскар Уайльд заметил справедливо,
что подражает Тёрнеру природа.

**К.Моне и Д.Уистлер – импрессионисты*

ПЬЕРО И АРЛЕКИН

Я чередую грусть Пьеро
со смехом Арлекина.
То тормозит меня нутро,
то мчится, как лавина.
Я к этому давно привык.
Клин вышибаю клином,
и вдохновенья светлый миг
встречаю Арлекином.
Но если что-то вдруг не так,
и я во власти лени,
считаю – это лишь пустяк
и недоразуменье.
И средь житейской кутерьмы
и будничного сора,
я не пою судьбе псалмы,
не прячу взгляд за штору,
прищуриваюсь я хитро,
в минуты откровенья...

То Арлекин я, то Пьеро
в угоду настроенью.

* * *

Блеск
Твоих агатовых излучин —
Как лунный лес.
До основанья мной изучен
Твой блеск.

Гнев
Выражен бровей излётом.
Слова презрев,
В меня метнула ты с налёту,
Свой гнев.

Вздых
Осужденья с укоризной —
Застал врасплох.
Он надо мной повис, как призрак,
Твой вздох.

Смесь,
Улыбки горькой с тихой грустью —
Попробуй, взвесь.
Но снова этим угощусь я
Вот здесь.

* * *

Между выдохом и вдохом,
между «здравствуй» и «прощай»,
между «хорошо» и «плохо»,
всё проходит невзначай.

Время канет незаметно,
пролетит на всех парах,
зацепив, как дождик летний,
звук назойливый в словах,

неожиданной помехой
станет жалить, как мигрень.
Ухнет филином, как эхо,
промелькнёт, как полутень,

то припомнится несмело,
то привидится во сне,
пророкочет тарантеллой
на расстроенной струне.

Ну, а после, осторожно,
Разовьёт в груди размах.
Иль покажется нам ложной
Нотой, вспыхнув на губах.

* * *

Всё тащит ночь в свою нору:
Дневных претензий мишуру,
Признанья, недомолвки.
Чтоб завтра, прямо поутру,
Сигналить сердцу: что к добру,
Что цельно, что осколки.

Но вновь приносит новый день
Для размышлений дребедень,
И для бессонниц пишу:
Что наяву, что только тень,
Над чем подумать просто лень, —
И выхода не ищем...

Так тянется из года в год,
И нет движения вперёд, —
Вокруг неразбериха.
Не появляется исход,
Лишь мысли носятся вразброд,
Вращаются, как вихрь

* * *

Тает в воздухе снег, не касаясь земли.
Солнце рвётся к победе в борьбе с облаками.

И маяк, как циклоп, разгорелся вдали,
Призывает он в рейс отправлять корабли,
За морскими дарами.

И к тому же весна сорвалась с тормозов.
Ей отрадно: зима уже держится еле.
Небо выше и чище. Лазурный покров
Подготовить земле освещенье готов
Для набегов апреля...

Безразличны мне лето, весна и зима.
Только поздняя осень лишь трогает душу.
Зарываюсь я ею в лесов закрома, —
Листопада цветного вокруг кутерьма,
От чащоб до опушек.

Радость в музыке осени ясно слышна.
О её непрерывности вечно молюсь я.
Умолкает она, — значит осень больна.
Сердце обручем сжала её тишина,
Серенадою грусти.

ПОДОЛЬСКАЯ АНЖЕЛЛА

БАБМАНЬ

– Лёва, проснись! Взгляни на часы! И не притворяйся. Вижу, что не спишь. Ну, давай, давай, поднимайся. А я тебе котлетки с хрустящей корочкой, как ты любишь, поджарю.

– Врёшь – беззлобно, сквозь сон, сказал Лёва.

– Вру, – согласилась бабушка. – Забыл, что врач советовал?

– Ещё чего! Сам пусть худеет.

– А я думала, ты уже взрослый мальчик.

– Меньше думай, Бабмань! Вредно для здоровья. Иногда, правда, мозгами пошевелить не лишне. Но не в этом случае, – зевая и потягиваясь, сказал Лёва. – Нет, серьёзно. Ну, чего ты там к завтраку сварганила?

– Творожок сварганила, – перешла бабушка на Лёвин жаргон. – Он у меня получается, как живой, ты же знаешь. В нём много кальция, который необходим твоему растущему организму.

– Концентрированная польза? – с издёвкой, спросил Лёва. – Гадость, ещё та.

– Ну, не умничай, поднимайся. Родители рассердятся, если ты и сегодня в институт не пойдёшь.

– И не пойду. Надоело. На рынок поеду. Птичий.

– Что ты там забыл, дуралей? Попугая?

– Ладно, Ба. На самом интересном месте сон мой оборвала. Мечту, можно сказать. Давай, шевели копытами. Мне одеться нужно.

– Солнышко! Что, я тебя не видела?! Вот!! – вытянула она руки. – Этими самыми рученьками тебя и мыла, и пеленала с самого твоего рождения. Мирра училась. Должна же я была дать дочери образование? А твой папаша... На Фиму надеяться нечего.

Бабманя безнадёжно махнула рукой и вышла из комнаты внука. «Ну, не любит она Фиму. Пусть её расстреляют за это. А за что его любить, спрашивается? За его длинный нос? Почему-то, точная копия такого носа у внука

её вполне устраивала и нисколько не раздражала. Скорее, наоборот. Только, мальчик несколько полноват. И совершенно прав доктор: Лёвке нужно похудеть. Подумаешь! Так не пойдёт он сегодня в институт. Ну и что? Нормальный здоровый сон семнадцатилетнего мальчишки, до ночи сидящего в Интернете. Мечту она ему, видите ли, оборвала... На самом интересном месте... У него, оказывается, есть мечта. Знает она его мечту, эту Зоську, из одиннадцатой, которая его бросила и теперь простаивает в парадном с Жоркой, Лёвкиным другом. Друг называется. Таких друзей, она бы... – Бабманя перекрестилась, хотя была чистых кровей еврейкой. – А, какая разница? Бог – он един. Для всех. Только каждый идёт к нему своим путём.

– Разве это – жизнь? – сказала она вслух.

– А что же это, по-твоему? – спросил появившийся на кухне Лёва.

– Дай ухо, так я тебе скажу.

– Ну?

– По-моему, это... – и она что-то шепнула Лёве на ухо.

– Прикинь... – рассмеялся Лёва. – Это и есть жизнь. Сечёшь? Ну, где обещанные котлеты?

– Не дури! Ешь творог. Котлеты будут к обеду.

– Ба! Отвянь со своими витаминами. Будут котлеты, вот тогда и поговорим. – Хлопнув дверью, он ушёл.

«У мальчика – душевная травма, – расстроилась Бабманя. – Такой Лёвчик! Такое ясное солнышко! А эта Зоська?! Корчит из себя английскую королеву. Ну, ничего, ничего. При встрече она плюнет в её нахальную польскую рожу. Нет, в рожу не стоит. Лучше она плюнет на её новые, на шпильках, сапоги. А слюна-то у неё ядовитая. – Бабманя тихо засмеялась, и в глазах её вспыхнул странный блеск. Она вспомнила, как разозлившись однажды на Фиму, плюнула в приготовленный ею зелёный борщ, который и подала «любимому» зятю. – И Фима, смешно вспоминать, но он отравился. С ума соскочить можно».

Взяв щётку для пыли, она зашла в комнату внука и, в который раз, восхитилась: «Ты глян! Учиться не хочет, а в комнате чистота. – Она открыла шкаф, в котором царил идеальный порядок. Футболка к футболочке. Майка к майчке. Все вещи на отдельных плечиках. Аккуратист. От удовольствия она произнесла крепкое словцо. Подойдя к магнитофону, провела пальцем: ни пылинки. – И повезёт же кому-нибудь. Ох, и дура эта Зоська. Счастья своего не понимает. Да, ситуёвина... – Даже бывая наедине с собой, она использовала Лёвины словечки. Она нажала на «PLAY», и по комнате поплыл «Караван». – Как его там? Эли... А.. забыла... Ну, в общем, Дюк. Лёвка его обожает. Ещё он обожает мясо. И Зосю». Бабманя закрыла глаза, расслабилась и, преодолев вместе с «Караваном» пустыню, достигла оазиса. Вспомнив про обещанные котлеты, она помчалась на кухню крутить мясо.

Часа через два хлопнула входная дверь, и Лёва позвал:

- Бабмань, иди сюда.
- Кто это? – спросила она, увидев в коробке из-под обуви маленького щенка. – Почему ты вдруг решил купить собаку?
- Это единственный способ быть любимым. За деньги.
- Он не вырастет в овчарку?
- Что ты! Это карликовый пинчер. Бесстрашный маленький воин с сердцем льва. Это девочка, Зося. Познакомься.
- Сучка? Ещё одна?
- Не обижай собачку.
- Лёва! Зачем ты её так назвал? Ну, ладно. Если тебе так легче... Ты подумай о «сегодня». О «вчера» забудь. Этой дуре от тебя нужен был только секс, а ты ещё совсем ребёнок.
- Ба, я в шоке. Ну, ты продвинутая. Откуда ты только понахватала такие словечки? И определись. То я у тебя взрослый мальчик, то ещё ребёнок. Скажу тебе по секрету: я уже не ребёнок. Запомни.
- Ладно, Неребёнок. Неси-ка свою Зося на кухню. В последний раз скажу: хорошо, что ты больше не будешь таскать розы этой дуре из одиннадцатой.
- Это почему ещё?
- Ты опрыскивал их Мириными французскими духами.
- Да. Чтобы они лучше пахли.
- Ну и дурак. Если бы мать заметила, досталось бы и тебе, и мне. И откуда ты такой? А... Что я спрашиваю? Кого ещё мог сотворить Фима? Имя придумал: Лео, Леонард. Злится, когда я тебя Лёвчиком зову.
- Ба! Тебя что-то не устраивает?
- Меня всё устраивает. Так, бекицер. Мой руки, и к столу. И этой дай, Зоське.

От удовольствия жмуря глаза, Лёва поглощал котлету за котлетой.

- Бабмань! Ты настоящий друг, веришь?
- Верю, не подлизывайся. И особо не увлекайся. Ты не один, родителям оставь. Ну, а суп, как всегда, «в пролёте»? – она отодвинула от него миску с котлетами.
- Дай ещё.
- Хватит, я сказала. Ты – сыт. Достаточно.
- Хорошо. Ой, как хорошо. – В эти минуты Лёва ощущал абсолютное блаженство. Ему казалось, что Зося уплывает от него всё дальше и дальше. Что он её уже не любит. Почти не любит. Он благодарно улыбался:
- Бабмань, а расскажи-ка мне! Как у тебя было, ну, «это самое», с дедом? Давай, колись! Он у тебя был единственный?

– Фи-и! Циник! О чём ты спрашиваешь старую женщину?
– Ты, старая?! Ну, не скромничай. А знаешь? Если бы кто-то додумался провести конкурс «Мисс «Бабушка»», первое место было бы за тобой. И не сомневайся.

– Ну, да. Ну, да. Ты мне зубы не заговаривай. А вот лучше ответь, как долго будет длиться этот твой душевный кризис? Часами лежишь на диване, уставившись в потолок, и слушаешь музыку. Ты, что же? Хочешь увлечь Зоську своим крутым задом? Джаз, это конечно клёво. Как его там, твоего любимца? Эли?...

– Ба, ну, ты даёшь! Элингтон. Запомнить не можешь.

– Ну, пусть Элингтон. Это тебе нужно мозгами пошевелить. Что ты строишь из себя обиженного и брошенного? Оскорблённая невинность, да? Умом взять надо. Делом. А Элингтон от тебя никуда не денется. Он и мне нравится, но это не мешает жарить для тебя котлеты. Зоська его, видите ли, предала.

– Ба, давай без фанатизма. Почему ты так не любишь женщин?

– Это кто женщина? Зоська? Ой, не смешите! Я хочу, чтобы ты стал самым умным, сильным. С комплексом полноценности. Ну, посмотри на себя. На кого ты похож? «Кефирчик» какой-то.

– Что?! – Вытянулось лицо у Лёвы. – «Кефирчик?!» Это ты про меня?

– А про кого же ещё? Не про Жорку же твоего. Пусть о нём беспокоится его бабушка.

– Но у него нет бабушки, ты же знаешь.

– Правильно. Так воспользуйся тем, что у тебя она есть. Твоей маме не до тебя. О Фиме я вообще молчу. Слушай, чему я тебя учу. Завтра же в институт пойдёшь. И без разговоров, понял? Ты должен сделать себя сам. Больше никому. Вот тогда и получишь свой градус удовольствия. А не заняться ли тебе верховой ездой? У тебя всё время должны раздуваться ноздри, как у беговой лошади. Возьми пример хотя бы со своей собачки. Пусть и у тебя будет сердце, как у льва. – Она взяла щенка на руки. Бесстрашная Зоська зевнула, открыв маленькую пасть, недовольно заворчала, пытаясь высвободиться из цепких рук Бабмани.

– Ты посмотри, какая привереда! К хозяину тянется. Ну, иди. Иди к Лёве – отдала она щенка внуку.

Зоська потянулась и, обдав Лёву запахом шерсти и котлет, лизнула его в щеку.

ОСЕННИЙ БЛЮЗ

*(Глава б-я из повести «Сёстры». Начало см. в альманахах
«До и после» №8-12).*

Календари сменяли друг друга. Стояла поздняя осень, и подвластные немолимому времени медленно отлетали листья. Жёлтые, напоминающие о недавней золотой поре, они кружили, пытаясь высвободиться из этого некротимого, безнадежного круговорота.

Поздним вечером, когда все разошлись по комнатам, Марьяна, предавалась своим мыслям. Она отслеживала их, как кадры киноплёнки, собранные в единое целое, составляющие её жизнь, то стремительную, то однообразную. Порой так трудно объяснить себе какие-то «тонкие» вещи, существующие в душе, в самых дальних её уголках. Иногда душу наполняет непонятная радость от самого сознания, что живёшь, дышишь. Грусть, оттого, что уже многое позади. То, вдруг, поманит куда-то ночь. Как хочется иногда, просто пройтись по ночным улицам, бесцельно, никуда не спеша.

Набросив тёплую шаль, она вышла на лоджию, пытаясь как можно дольше удержать в себе холодный аромат осени. Ночную тишину периодически тревожили поезда метро, пронесившиеся по мосту Гидропарка, и ещё множество других звуков. Так бывает, когда слушая красивую спокойную мелодию, думаешь о чем-то своем, но вдруг в музыку вторгается резкий посторонний звук. И ты, вздрагивая, вынырываешь, словно из нирваны. Было полночь, но город не спал.

В природе всё сходится. Идёт не прямо, кругами. Возвращается. По прошествии лет прежние проблемы иногда кажутся ничтожными, второстепенными. Когда-то Марьяна думала, что никогда не сумеет простить предательства близких людей. Но принадлежа к категории людей, которые прощают, она постаралась убить в себе обиды. Почти. Не хотела с этим жить. Даже мать часто говорила ей: «Ты не понимаешь. Есть вещи, которые можно забыть. Есть вещи, которые нужно забыть. Но, есть вещи, которые нельзя забывать. Ты – слишком мягкотела. Как ты так можешь?! Как ни в чём ни бывало, разговариваешь с «этим» человеком? Даже я за эти годы не сказала ему ни слова. А ты? Зачем?»

Годы... Просыпаться от собственного немого крика. Пустота, инерция... Без него. Без его рук... Её любовь, страдание, боль. Сколько раз, глядя на него, она думала об этом. Изучала его лицо, разрез глаз, изгиб губ. Изучала, словно через увеличительное стекло. Как такое могло произойти? Но ответ всё время где-то прятался. Сколько можно об этом вспоминать? Она не виновата, что глубоко внутри, «это» всё ещё саднит. Это «то», что никогда

не изжить до конца. В глубине её души продолжал жить образ, который мог стать её человеком. Порой он всё ещё возникал перед глазами, был невыразимо близким, даже родным. Но пока она наделяла его разными эпитетами, образ становился расплывчатым и исчезал. И уж совсем не был похож на нынешний, реальный прототип.

Как он смотрит на неё теперь? Чуть ли не на коленях. Почему так, когда абсолютно всё ушло? Смешно. Смешно и грустно. «Так. Надо успокоиться. Взять себя в руки. Подумать о чём-то другом, – тихо сказала она себе, пытаясь развернуть свои мысли в другом направлении. Интуитивно вербализируя, она проговаривала свою жизненную ситуацию. – Кажется, я «выздоровела». Похоже, что время, когда я не в состоянии была даже подумать о новом чувстве, миновало. Довольно. Главное, что я усвоила: моя душа – не проходной двор. И вот это – победа. Над собой. Это вовсе не означает, что моя жертвенность уступила место эгоцентризму. Нет. И совсем не нужно ни о чём забывать. Нужно просто – жить».

Её взгляд скользил по тёмным шапкам деревьев, терявших последнюю листву. Сквозь четкий рельеф ветвей, обозначенный на звёздном небе, она хотела прочесть своё будущее.

Марьяна любила свою работу, и та платила ей взаимностью, принося удовлетворение. Небольшая проектная группа, которой она руководила, одной из первых освоила и стала использовать при проектировании появившиеся в их отрасли персональные компьютеры

Пожалуй, в последние годы работа стала чуть ли не самым большим хобби Марьяны.

В свои почти тридцать лет она была очень красива. Даже в юности не была так хороша.

Она принадлежала к тому редкому типу женщин, которым идет гладкая прическа. Собирала волосы в тугий узел, который оттягивал голову назад и придавал всей фигуре величественную осанку. Она стала спокойной, уверенной в себе женщиной, знающей, что рассчитывать всегда и во всём может только на себя. Даже походка её изменилась. Из воздушной, всегда торопливой, стала твёрдой, деловой, но при этом не утратила женственности. Она нравилась мужчинам, последнее время – особенно. Многие за ней ухаживали, пытаясь сблизиться с нею. Но она была максималисткой: «Всё. Либо ничего». К тому же, не изжитый страх не давал ей расслабиться, принимать жизнь такой, какова она есть. Если ей нравился мужчина, она нервничала, пугалась, отходила в сторону. Иногда всячески демонстрировала равнодушие, опять-таки от страха.

Были и такие, кто звал замуж. Она улыбнулась, вспомнив одного из них, ухаживания которого принимала более, чем других. Они ходили в концер-

ты, на выставки, в Дом Кино на премьеры. Но слухи о его параллельных интрижках заставили её среагировать, и она оборвала отношения. Все попытки к сближению с его стороны были тщетны. Как всякий мужчина, знающий себе цену и имевший довольно большой опыт в общении с женщинами, он почувствовал себя уязвлённым – не привык к подобному равнодушию – и также перестал её замечать. Где-то в глубине души её точило сожаление – этот мужчина нравился ей. Но она была уже «взрослая» девочка, и подчинить её себе было почти невозможно. Теперь она могла вовремя остановиться. Читая немой вопрос в глазах матери, страстно желавшей, чтобы дочь, наконец, вышла замуж, Марьяна говорила: «Это – не мой человек».

Она, по-прежнему, всё себе шила и вязала, но уже более профессионально. Могла из ничего сотворить нечто новое. Это были годы, когда купить что-то в магазинах было почти невозможно – прилавки были пусты. И она перелицовывала старые вещи. Добавляя новые детали, вдыхала в устаревшую или разонравившуюся ей вещь новую жизнь, и в ней появлялась «изюминка». Её вкус проявлялся удивительным образом. В своих изделиях она применяла сочетание тонов в «контраст», что свойственно натурам неординарным, одиночкам. Тогда как сочетание в «цвет» применяют, обычно, все. Класс её мастерства вырос настолько, что когда она приходила на работу в обновке, мало кто верил, что это сделано её руками. Доходило до того, что приятельницы, тут же выворачивая изделие наизнанку, пытались отыскать хоть какие-либо дефекты. Не обнаружив таковых, говорили: «Фирмб». И это был верхом похвалы. Свободного времени для чтения оставалось немного, но она выкраивала его для любимой поэзии, никогда не заучивая стихи специально. Самые любимые из них запоминались после нескольких прочтений. И когда на работе случались посиделки по праздникам, её всегда просили: «Почитай». И она читала. Коллеги утверждали, что читает она необыкновенно, и это радовало её. Друзей у Марьяны осталось немного, их круг всё больше сужался, многие уехали. Вот и любимая школьная подруга Стёпа, присылая ей письма из Цинциннати, звала к себе. Но отъезд из страны в планы Марьяны не входил.

Она крайне редко приглашала друзей к себе – обстановка не располагала. Нет, она не роптала, так сложилось. Даже дни рождения не отмечала после того далёкого, десятилетней давности. Помнила, что последовало за ним. Кроме того, со стыдом вспоминала, как сестра, когда разошлись гости, сказала матери: «Пересчитай вилки и ножи, не унёс ли кто. А что? Серебро всё-таки». Хорошо, что никто, кроме них с мамой, этого не слышал.

Пожалуй, Марьяна осталась единственной, кто уже не реагировал на характер сестры. Друзей у Светы не осталось. Она соединяла в себе несоеди-

нимое. Со своими прежними приятелями могла быть порой великодушной, даже щедрой. Потом всё это куда-то девалось, и на смену радушию приходили мелочность, злоба. Даже дети тянулись больше к Марьяне. Особенно Алина, которая многое уже понимала, старалась находиться в комнате тётки, всё время жалась к ней, не отвечая на зов матери. За что Света могла накричать или, даже ударить девочку по лицу. Марьяна останавливала сестру: «Такими действиями ты совсем оттолкнёшь от себя ребёнка». Но Света, ревновавшая дочь к сестре, искала виновных. «Ты специально строишь из себя добренькую тётушку. Пытаешься внушить девочке, что я – плохая мать. Все твои любезности фальшивы. Я знаю, уверена, в душе ты желаешь нам всяких пакостей».

Марьяна, с сожалением глядя на сестру, не пыталась достучаться до её сознания или сердца. Она не возражала, ничего не доказывала. Это не имело смысла. Только однажды, всё же сказала: «Попытайся смирить свой характер. Сделай хотя бы усилие над собой. Поверь, это принесёт тебе облегчение и хоть каплю уважения к себе. Ты ведь любишь не детей, а свою любовь к ним». А Алине Марьяна внушала: «Солнышко, девочка моя! Она – твоя мама. Ты должна вести себя, как взрослая. Понимаешь?»

Стало зябко. Марьяна вернулась в комнату, включила телевизор. Демонстрировали какой-то бесконечный мексиканский сериал. Ей не нравятся в нём ни примитивный сюжет, ни игра актёров. Она долго не может заснуть. Мысли кружат, обгоняя друг друга, как листья за окном: «Приближается тридцатилетие. Своего рода рубеж. Для женщины – особенный».

Ночь была беспокойной, ей снились какие-то кошмары, но утром она не смогла вспомнить ни одного.

Уступив просьбам мамы и Светы, Марьяна согласилась отметить юбилей, хотя интуитивно чувствовала: не надо. Собрались родственники. Вечер уже близился к концу, когда Леонид, будучи изрядно пьян, взял на себя роль тамады. Произнося какой-то длинный, невнятный тост, договорился до того, что считает этот день концом своей супружеской жизни со Светланой. В итоге, рухнув перед Марьяной на колени и обливаясь слезами, стал просить её руки. Он был так жалок, так смешон. Марьяна попыталась свести всё к шутке. Но Свете было не до смеха. Она сто раз уже пожалела, что затеяла этот совместный день рождения.

– Что тебе надо? Чего не хватает? – кричала она мужу.

Когда его выводили из комнаты, вырываясь и плача, он кричал:

– Марьяна. Горько. Горько.

Всколыхнувшиеся родственники, все годы не подававшие виду, что осведомлены о происходящем в этом доме, старались успокоить рыдающую

Свету. Каждый пытался перекричать другого, сказать своё веское слово. Только Шарлотта Максовна сидела с окаменевшим лицом.

– Мамочка, только не волнуйся, – шепнула ей Марьяна. – Всё успокоится, вот увидишь. Я пройдуся немного. Хочется свежего воздуха. И чего-то ещё...

Легко шла она по опустевшим аллеям парка, ощущая необъяснимое чувство свободы, новое, такое сильное. Тихонько рассмеялась. Под ногами шуршали съёжившиеся пожухлыми трубочками листья. Земля дышала сыростью – чувствовалось приближение зимы. Холодный ветер, разбрасывая капли дождя, переходил в мокрый снег. Ранние сумерки, поглотив день, погрузили город в темноту. Но в свете зажжённых фонарей виднелись последние листья, исполняющие свой прощальный, осенний блюз.

МАГИЯ ЧИСЕЛ ИЛИ ЗАКОН ПАРНЫХ СЛУЧАЕВ

(Глава 7-я из повести «Сёстры»)

Наступивший год был високосный. Это всегда настораживало, ведь по астрологическим меркам он всегда непростой.

Ещё вчера опалили последние листья в своём завораживающем танце, хлестал дождь, тяжёлый и зябко пронизывающий. А сегодня зима уже шагала по сугробам, выбелив улицы.

Кутаясь в осеннее пальто, Марьяна стояла на остановке в ожидании автобуса. Они подходили переполненные и, практически, не останавливались. Народу собралось много, был час «пик», и сесть в автобус, да ещё с такой тяжёлой сумкой, как у неё, было невозможно. Она уже подумывала, не остановить ли ей такси. Решила: «Если и сейчас не попаду, возьму машину». Иногда мысли материализуются. Не успела об этом подумать, как возле неё притормозила машина.

– Подвезти? – спросил водитель, открыв дверь.

Кивнув, Марьяна сообразила, что впервые изменила своему правилу, не садиться в машину к незнакомому мужчине, к тому же на переднее сиденье. Но было поздно, они уже отъехали. Она внимательно посмотрела на него.

– Не волнуйтесь. Не маньяк. Куда едем, мадам? – На мгновение их глаза встретились.

– Следите за дорогой, пожалуйста. – И она назвала свой адрес.

– Дефицит? – Кивнул он в сторону её сумки, из которой выглядывали палка колбасы и растопыренные куриные лапы. – И часто Вам приходится носить такие тяжести?

– Паёк, – односложно ответила она.

– Понятно. А почему Вас муж не встретил?

– Вы всегда так любопытны? – вопросом на вопрос ответила Марьяна и украдкой взглянула на его правую руку, уверенно лежащую на руле.

– Не женат. Вернее, был. – На мгновение он поймал её взгляд.

Марьяна покраснела. Особенность, сохранившаяся с детства, некстати дала о себе знать:

– При чём это? – Она попыталась удивиться, но вышло как-то неуклюже.

– Вы – не замужем, – констатировал он.

– Ну и ну. Вы фатально пронизательны.

Она рассердилась и отвернулась к окну.

– В Ваших словах звучит сарказм, но я не хотел Вас обидеть. Просто, рад.

– Спасибо.

– Спасибо, «да»? Или спасибо, «нет»?

– Послушайте! Это, наконец, переходит все рамки. Если Вы... Я выйду из машины...

У него был приятный голос. Спокойный, доброжелательный взгляд. И улыбка. Слегка ироничная. Он спросил ещё о чём-то, но ей почему-то стало трудно придавать мыслям словесную форму, и остаток пути они ехали молча.

– Остановите здесь. Приехали, – наконец, сказала она. – Сколько я должна?

– Ну, что Вы? Имеете дело с джентльменом.

– Не выдумывайте. – Она попыталась расплатиться, но он отвёл её руку.

– Я не меняю своих решений. Позвольте уж мне до конца доиграть свою роль воспитанного человека и помочь Вам донести сию ношу. – Он вышел вслед за ней из машины.

Они шли молча и, подойдя к парадному, Марьяна протянула руку за сумкой.

Подняв глаза, он наткнулся на её изучающий взгляд и улыбнулся. Если бы не эта улыбка, она, скорее всего, тут же ушла бы. Но было в его взгляде что-то мягкое, доверчивое, скрытое за показной развязностью и самоуверенностью. И что-то ещё... Может быть, спокойствие, уверенность? Как раз то, чего ей так не хватало...

– Я Вам позвоню... – полувопросительно, сказал он.

– Вы меня «клеите»?

– «Кадрю». Как Вам больше нравится?

– Не вижу разницы. Почему бы нет? Запоминайте номер. – И продиктовав его, она кивнула – Привет.

– Как Вас зовут? – Уже вдогонку крикнул он, когда она вошла в парадное.

Не обернувшись, она ответила, и эхо вернуло: «Марьяна».

– Однако. – Усмехнулся он. – Какое редкое имя. Из «вчера».

В лифте её лихорадило: «А не сошла ли я с ума? У жизни все-таки своеобразное чувство юмора. Снова знакомство в транспорте. Правда, не в общественном».

За ужином, уткнувшись в тарелку, она вспоминала его глаза. Вздыхала, сама того не замечая. А из маминой комнаты доносился романс Вертинского: «Мадам, уже падают листья...»

«Уже падают листья, – подумала Марьяна. – Глупо как-то. Да и не позвонит он». Она смотрела в окно, в которое, преодолевая расстояние шириною в Днепр, ритмично вливали подсвеченные прожекторами золотые купола Лавры.

Утро было обыкновенным – пасмурным и прохладным. Но не для них.

– Ты так смотришь на меня, – Саша замолчал, стараясь поймать её, словно ускользающий, взгляд.

– Как?

– Отстранёно. Как будто смотришь сквозь меня. Я тебя разочаровал? Такая женщина, как ты ... – он запнулся.

– Продолжай, – Марьяна приподнялась на локте, внимательно глядя на него.

– Я хотел сказать... спросить... Ты меня чувствуешь? Мне кажется, что мы знаем друг друга лучше, чем самые близкие люди. И что те, другие, находящиеся всего в каком-то шаге от нас, не знают о нас ничего.

– Как это?

– Просто, мы давным-давно знакомы, хотя встретились только два дня назад.

– Так мы были знакомы?

– Ты не понимаешь. Встреча была раньше, может быть во сне...

– Саша! Откуда ты возник позавчера?

– Из тумана. Когда увидел тебя, понял, произошло что-то... Не знаю, что...

– По-моему, мы оба сумасшедшие. – Она откинулась на подушки и закрыла глаза. Её била дрожь от воспоминаний прошлой ночи с поцелуями на грани обморока.

– Тебе холодно, любимая?

– Да. Дай мне руки. Они такие тёплые.

Она снова провалилась в нирвану. Незнакомое, неизведанное ею прежде блаженство.

– Что? – прошептала она, открыв глаза.

– Понимаешь... – Он пристально смотрел на неё. – В какой-то момент становится предельно ясно – вот тот человек, с которым хочешь быть рядом. Вот и всё. Я люблю тебя. Как ни банально это звучит. Скажи что-нибудь.

– Что ты хочешь услышать? Ничего нового не скажу. Думаю, нами правит случай. Говорят, человек своими усилиями способен изменить жизнь... Не

верю. Я фаталистка... Толчок, посылаемый судьбой – и мгновенная перемена участи... Внутренний голос подсказывает: «Это – он». Знаешь, в моей жизни, однажды, так уже было. Потом – боль и разочарование. Я? Я не знаю... Чтобы на третий день знакомства оказаться в постели с чужим мужчиной?! Мне это снится?

– Расскажи о себе, – попросил он. – Расскажи всё.

– Зачем? – удивилась она. – Ты уверен, что хочешь знать? Заманчивая перспектива, копаться в прошлом... Не хочу. У меня нет ни малейшего желания обнажать душу. Лишь для того, чтобы показаться значительней, загадочней? Реанимировать прошлое? Я вышла из него. Понимаешь? Поменяла шкуру.

Он взял ее за подбородок и, приблизив к себе, зарылся лицом в её волосы. Вдыхая запах её тела, целовал глаза. И она почувствовала, как снова тает в руках этого сильного, большого мужчины.

В эту минуту ей было абсолютно всё равно, где она, что будет завтра? «Нет, что угодно, только не возвращаться сейчас домой. Так хочется ещё немного сумасшествия!»

Откровения чередовались с минутами любви и нежности. Сквозь дрему она вспомнила, как в субботу утром, спустя два дня после знакомства, он позвонил. Днём они встретились у метро «Крещатик». Обратившись к ней на «ты», он предложил:

– Давай погуляем.

Она поймала себя на мысли, что ей нравится, как он держит её за руку, что обращение на «ты» не кажется фамильярным. Они пошли к Филармонии, спустились на Подол. От набережной дуло, и поднявшись на фуникулёре на Владимирскую Горку, они долго бродили по безлюдным аллеям, засаженным тополями. Под ногами хрустел снег, взбиваемый ветром в метель. С Горки пошли в сторону Владимирской улицы, миновали любимый ею с детства Софийский Собор. Она совсем потеряла счёт времени. Сколько они шли? Час? Десять? Он заставил её ни о чём не думать... На ощупь, почти заблудившись в метели, они шли, не оглядываясь по сторонам. Нечто вело их за собой. Они замёрзли и когда, петляя, оказались на Чеховском переулке, он сказал:

– Ты знаешь, вот мой дом... Буду рад, если ты заглянешь ко мне на чашечку кофе.

Она вздрогнула от его пристального взгляда.

– Если только на кофе... – сказала она, чувствуя себя идиоткой.

Не отрываясь, они смотрели друг на друга. Ничего не нужно было объяснять. Всё сказали глаза.

Она пошевелилась, и он тотчас открыл глаза:

– Что, любимая?

– Не знаю... Всё так странно... Быстро...

– Всё так прекрасно.

Услышав доносящуюся откуда-то мелодию, Марьяна спросила:

– Ты любишь блюз?

– Больше рок-н-ролл. – Он рассмеялся.

– Почему ты смеёшься?

– На американском сленге он означает: «Любовные забавы».

– А я люблю блюз. Тебе придётся его полюбить... Что же теперь?

– Теперь? Думаю, завтра мы перевезем ко мне твои вещи. Правда, я ещё в стадии развода. Но, ведь это всё условности. Потом познакомлю тебя с сыном, Юрой. А через год мы уедем. В Америку.

Дома Марьяна появилась только в воскресенье вечером.

– Как отдохнула? – Встретила её Шарлотта Максовна. – Ты должна почаще устраивать вылазки на природу. Представляю, как там сейчас хорошо.

– Мамочка! Кажется, я выхожу замуж.

– Шарлотта Максовна грузно опустила на стул и растерянно посмотрела на дочь:

– Как? Кто он? Откуда появился? Так ты не была у приятелей на даче? Ты никогда ничего мне не рассказываешь. Что ты улыбаешься? Почему из тебя всё надо вытягивать клещами? Я волнуюсь. Ведь я люблю тебя.

– Всё замечательно, мамочка.

– Что, замечательно?

– Мамочка! Так много всего. А я безумно устала. Безумно. Пойду в душ. Мне рано на работу. Не сердись. Я сама ещё ничего не понимаю. Ничегошеньки.

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

АВТОГРАФ ПОЭЗИИ

Рукописи А.С.Пушкина

Беспечный росчерк птичьего крыла
на высоте следа не оставляет,
и там, где птица только что была,
лишь облако плывёт. Плывёт и тает.

Перо, бумага. Свечка оплывает.
Века прошли, но словно бы вчера...
И вновь душе автограф оставляет
бессмертный росчерк вещего пера.

ПАРЕНЬЕ НАД ПАРИЖЕМ

Закрой глаза и вспоминай Париж:
над Эйфелевой башней воспаришь,
над купольным навершием Монмартра...

Мне ж явится магическая мантра
решёток тёмных в светлых рамах окон.
Их множество, их не окинешь оком.
Их чёткие рисунки прихотливы:
сплетенье линий, ритмика, извивы.
Ажурна лёгкость тяжкого металла —
она меня тотчас околдовала
изысканностью графики, свободой.

Мне вспомнилось, что тягостные своды
тюремных башен с окнами слепыми
ограждены решётками простыми,
безрадостно-бесстрастными, прямыми...
Но, возвращаясь мысленно к Парижу,
свободу творчества в решётках вижу —
неповторимость каждого узора,
отрадную для разума и взора...

Пред этой красотой не устоишь.
Закрой глаза и вспоминай Париж!

ВНЕЗАПНО

Ладонями глаза твои прикрыл я.

В испуге удивлённом трепетали
ресницы, словно маленькие крылья,
а губы вопросительно шептали
чужое чьё-то имя — не моё,
которое услышать ожидал.

Тогда я, отведя свои ладони,
ресницам-бабочкам свободу дал
и встретил взгляд
зрачков твоих бездонных...

Нет, лучше б я игру не затевал!

ТАЛИСМАН ЗАПОЗДАЛЫЙ

Он неожиданно,
почти случайно
ко мне попал —
из яшмы камешек,
шлифованный в овал —
и сразу талисманом стал.

Им знак какой-то тайный
мне кем-то подан был,
как будто некто не забыл
о давней встрече.

И необычайным
явилось формы совпадение
с коробочкой из серебра,
подаренной ещё до появления
загадочного камня,
в день рожденья.

Из Мьянмы дальней к нам завезена,
орнаментом изысканным богата,
и с выпуклою крышкой из агата —
его как друга приняла она.

Мне талисман
стал приносить удачу,
но иногда,
при взгляде на него,
я плачу.

Не знаю отчего...

О РОЗАХ И ЛЮБВИ

Шиповник — дикий предок роз.

Младенцем спящим кажется бутон —
заботливо спелёнут крепко он,
тугим и плотным будущим наполнен.

Не ведая: кто предки, где исток,
он утром расправляет лепесток,
за ним — другой,
и впитывает волны
от солнца льющихся тепла и света.

И вскоре, свежей прелестью сияя,
полуоткрыта,
роза молодая

стыдливости отбрасывает вето,
всё шире раскрываясь,
и страстней
полуденному зною отдаваясь.

И вот открылась сердцевина в ней,
где предков диких явственны черты —
они, в зовущем лоне проявляясь,
собою губят свежесть красоты.

Но обнаженья тайны не стыдись,
и пополудни пышностью нарядна,
красавица смеётся плотоядно,
порвав с былою чистотою связь.

И скручены от зноя и тоски
к полуночи увянут лепестки...

Но изредка, по прихоти природы,
бывают розы и другой породы —
они, своей не раскрывая тайны,
всегда загадочны,
необычайны
душою искренней и благородной,
не вянут даже от любви свободной.

ГРАФИКА ЗИМНЕГО УТРА

Февраля чёрно-белое чудо
завиднелось картиной в окне.
Безупречная графика всюду,
неподвижны деревья во сне.

Только крупная тёмная птица
нарушает картины покой —
на графитные ветви садится,
снег ссыпается лёгкой мукой.

Наконец-то она улетела,
неуклюже махая крылом.

Унеслось чужеродное тело.
Спят деревья предутренним сном —

и застыли в неподвижности ветви,
тени снежные нежно лежат...
Создаёт эту графику светлый
Божий гений все зимы подряд.

ЗОЛОТАЯ ЭРОТИКА

Кисть должна быть мягкой, но упругой, как мех заячьей лапки. Погладив янтарную плоть сливочного масла кистью, золотых дел мастер прикасается ею к тончайшему листку золота, упрятанному между туманно-мазовыми, из папиросной бумаги, страницами книжки с листовым золотом.

Затаив дыхание, мастер подносит к отливке нагой женской фигурки кисть с трепещущим листком, прильнувшим к её промасленным волоскам. Он плотно прижимает тонкое золото к волнующим женственным изгибам и разглаживает его настойчивыми толчками кисти...

*

Сегодня обнажаются деревья. Это не откровенный стриптиз, а полное чувственным очарованием бескорыстное действие природы. Вчера ещё закрытые пышным одеянием из густой листвы, постепенно проступают женственные очертания изогнутых ветвей. Согласованно покачиваясь под упругими ласками ветра, они отдают ему лист за листом. Медленно, словно во сне, парят в утреннем мазовом тумане, янтарно - влажно поблёскивая, золотые листья.

Всё прозрачнее становится лиственный наряд, пока, наконец, не опадает полностью, оставляя светлеющему небу прихотливый рисунок нагих ветвей.

Покров из золотых листьев приникает к земле, шурша ей прощальную нежность.

ДАВИД ЯНОВСКИЙ**ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ**

Хрустальная ночь была чёрным форпостом,
Хрустальная ночь — это страшный рубеж.
С неё начинается ад Холокоста,
Мучений и смерти безумный кортеж.

Звук бьющихся стёкол — как звон погребальный
По тем, кто себя называет «а ид».
По этим кровавым осколкам хрустальным
Пройдёт их дорога в еврейский Аид.

А над синагогами — дымное пламя
Пылает предвестьем Треблинки печей.
Фашистская нечисть гремит сапогами,
Ещё до Победы — две тыщи ночей.

Всё вынес народ. Мы расправили плечи.
У нас есть Израиль — надежды оплот,
Но тех не забыть, кто ушёл через печи.
И тех не простить, кто вновь этого ждёт.

* * *

Не всё приходит,
Но всё проходит.
Событий замять
Заносит память.
Но что не сбылось,
Во тьме не скрылось,

А где-то рядом,
Не схватишь взглядом,
Бесплотной тенью
Грозит забвенью.

* * *

Окно прострочено дождём,
А за окном резвится осень,
Срывает листья в окоём
И весело швыряет оземь...

Блестящий бисер на стекле
Украсил законный хаос,
И в предвечерней полумгле
Всё тихо таяло. Смеркалось.

* * *

Осенний воздух пахнет грустью,
Дождём и позабытой тайной.
Река судьбы стремится к устью,
Впадая в океан бескрайний.

Хоть шепчут листья под ногами,
Что жизнь прошла, что смерть крадётся,
Деревья чувствуют корнями:
Зима пройдёт, весна вернётся.

* * *

За тёмной тучей скрылось солнце,
Позолотив её края,
Но в середине, сквозь оконце
Пробилась мощная струя
Всепобеждающего света,
И сколько бы ни прожил я,
Мне не забыть сиянье это.

МАРК ШЕЙНБАУМ

ЭТАП НА ЖИТОМИР*(из записок врача)*

Нет ничего хуже, если закапризничает прибор, ставший уже незаменимым. Вышел у нас вдруг из строя американский стерилизатор, оставленный больнице в подарок военным госпиталем, располагавшимся в нашем здании в дни войны. Прибор не то чтобы слишком уж сложный, но была в нём какая-то закавыка, из-за которой больничный электрик, мастер высокой квалификации, с довоенным польским дипломом, починить его не смог. Починил его один из наших пациентов. Ему потребовалось всего несколько минут, чтобы вода в стерилизаторе весело забулькала. Попутно он вернул к жизни ещё несколько приборов, давно бездействовавших, соорудил несложный станочек для заточки сменных «одноразовых» лезвий от американских скальпелей. Выбрасывать лезвия после первого их употребления – было выше наших сил. В стране, где жили, мы не привыкли к чему-то одноразовому, даже всякие беды в ней были, как известно, много-разовыми.

Звали нашего спасителя Геной. Около тридцати лет, красавец с богатой татуировкой в самых неожиданных местах. Он изъяснялся на довольно приличном русском языке, когда разговаривал с врачами, обращаясь к своим конвоирам, мгновенно переключался на лагерную «феню». С ними он говорил с лёгким пренебрежением: «Вохра, что с них возьмёшь». Гена отбывал срок, и по больничному коридору разрешалось ему передвигаться только в сопровождении конвоира, вооружённого автоматом. В палате его охраняли двое. Присутствие охраны в отделении было привычным. Неподдалёку находился лагерь строгого режима. Политических в нём не содержали, поскольку наш город хоть и был далёкой окраиной, но она была всё же западной. Одни уголовники. Больные с неотложными заболеваниями из лагеря доставлялись к нам, и мы привыкали к блатному жаргону, а на-

шим молодым медсёстрам предоставлялась возможность пофлиртовать с конвоирами.

Среди пациентов попадались воры, крупные растратчики и даже убийцы. Впрочем, вполне возможно, что были среди них и безвинно осуждённые. У советской Фемиды, как известно, повязка на глазах то сползала, то бывала слишком туго затянутой. Для нас, гражданских врачей, статьи уголовного кодекса оставались там, за оградой лагеря. Мы воспринимали необычных пациентов как людей с искалеченными судьбами. Попадались и просто интересные люди.

Сидельцам в лагере были во всех деталях известны характеристики наших хирургов, а некоторые из них, поступая в отделение, с первого взгляда могли назвать любого из нас по имени и отчеству, предварительно об этом не осведомляясь.

Геннадия оперировал один из наших молодых хирургов. Вернулся он после операции в ординаторскую несколько смущённым и заявил: «Этот зек симулировал острый аппендицит и теперь даже не отрицает этого». Операция шла под местной анестезией, и наши сотрудники наслушались блатных песен вперемежку с зубовым скрежетом. Аппендикс оказался, как именуется у хирургов – «голубым», иначе говоря – ни в чём неповинным.

Прошло несколько дней, Геннадий мог уже заходить в ординаторскую без конвоира. Они не то стали ему доверять, не то очень уж были увлечены флиртом с сестричками. Первое, чем он поинтересовался после починки стерилизатора – живём ли мы только на одну зарплату? Что это так, он не поверил. Как выяснилось, он в прошлой жизни решал свои финансовые проблемы более радикально. От него мы узнали, что он коренной киевлянин. Отца своего не знает. Мама говорила, что тот был капитаном дальнего плавания и, видимо, заплыл куда-то слишком далеко. Лагерное меню ему очень напоминает то, чем кормила его в детстве мама. Воровать он начал ещё в начальных классах. Первыми его трофеями была мелочь, которую он вытаскивал у ребят в школьном буфете. Забавляла его их растерянность, когда буфетчица давала им в руки пирожок, а у них уже не было чем платить. Потом он стал вытаскивать авторучки у солидных дядей в очередях в кинотеатр. Навар здесь бросовый, но работа занятая, тренировка к тому же. Вскоре он понял, что только мелкие людишки становятся мелкими ворришками. Впрочем, к этому времени его заприметили в высших воровских сферах и взяли в «урлы», в подмастерья значит. Карьера заладилась, и вскоре он уже ходил в «медвежатниках». На одном из больших киевских заводов под его фамилией работал парнишка. Гена шёл на «дело» тогда, когда тот был в смене. Алиби первосортное. Парнишка получал дополнительно ещё две своих зарплаты. Как сообщил Гена, в их трудном деле действовать нужно очень аккуратно. Изымать излишки лучше не у граждан, а у государства.

«У вас, хирургов, работа тоже не лёгкая – посочувствовал нам Гена – вам, как и нам, заботиться нужно, чтобы, по возможности, кого-либо случайно не «замочить». Позже уже на дело выходить не приходилось, он только планировал, как подобраться к сейфам поближе. Его долю ему приносили кореша в зубах, на «цирлах». Жизнь пошла «в розовом цвете». Девицы тоже вокруг него крутились шикарные, но то были всё кикиморы, даже если и внешне смотрелись, как автомобиль «Москвич» в экспортном исполнении». И тут случилась катастрофа – Гена влюбился. Она, вся такая чистенькая, нежная, учительница математики в старших классах. Математички, по его глубокому убеждению, более надёжны. Он слышал, что учительницы литературы вдвое чаще изменяют мужьям, да и разводятся чаще. Ира, так её звали, начала выводить его в свет – то в театр, то на выставку. Геннадию даже понравилось. Правда, «кореша» хохотали по этому поводу до колик. Ира верила, что он работает слесарем, только не могла понять, откуда у слесаря такие «бабки». Признался он во всём уже после того, как расписались. Для неё это был шок. Завязал он с прошлым, и в самом деле стал работать на заводе. Жизнь пошла светлая, уютная, только очень уж скудная. Вот Гена и понять не в состоянии, как возможно жить на одну зарплату? Дальнейший рассказ Гены звучал приблизительно так:

«Вор, как актёр нуждается в аплодисментах. Правда, нам без цветов обойтись легче. Представьте себе, что в театре запретили аплодисменты. Выходит актёр на поклон, а тут тишина. Ужас! В нашей среде известность тоже нужна, но только в узком воровском круге. Аплодисменты нужны, но не громкие. У меня известность такая была. Оказывается, распространилась она всё же слишком далеко и дошла до ментов. До них всё доходит, правда, медленно. Вот и в мои прошлые дела они вникли тогда, когда я уже давно завязал. Меня схватили и дали срок. А ещё кто-то из прежних корешей «пришил мне нахапку», оклеветал, значит. Получалось, что я «лёт» под ментов, запродался им. Теперь меня собираются переправить из здешнего лагеря, с этапом в Житомирский, а там сидят хмыри, которым я заказан. Вот я спектакль и сыграл, чтобы переждать у вас пока этап отправят. Недаром меня Ира по театрам водила».

Гена просил нас подержать его в больнице подольше. Он то жаловался на боли в самых разных местах, то незаметно настукивал температуру на градуснике, а мы делали вид, что верим ему и назначали множество обследований и консультаций. Похоже, что наши хитрости не остались тайной для лагерного начальства. Гену увезли в лагерь, несмотря на «температуру» и «незавершённое» обследование.

Прошло несколько дней. Мне позвонили из лагеря домой с просьбой приехать к ним, так как у Гены возникло осложнение. Пришлют машину. «Легковушка» у них, оказалась в ремонте, за мной прислали «воронок». Я

уселся в него под недоуменные взгляды соседей. Невольно подумалось – хорошо, что рядом с водителем, а не в «салоне». Впрочем, к тем самым разнообразным видам транспорта, которыми мне приходилось добираться к больным, от телеги и лодки до самолётов, а позже и вертолётов, прибавился ещё один, весьма экзотичный.

Как сообщил мне врач лагерной санитарной части, Гена сумел черенком от ложки разорвать только что зажившую рану, и они опасаются, не вскрылась ли при этом брюшная полость. Осматривал я Гёну вдвоём с лагерным доктором. Брюшную полость Геннадия вскрыть не удалось. Я перехватил его умоляющий взгляд и намекнул коллеге, что следовало бы Гёну переправить к нам. Коллега побежал куда-то советоваться и вернулся с категорическим «нет»: у них не хватает солдат для конвоирования. Нашего разговора Гена не слышал. При прощании, поняв, что я его не забираю, покачал укоризненно головой: «Эх, доктор, доктор». Ехал я обратно тем же «воронком» и на душе «скребли кошки».

В Житомир Гёну всё же отправили. Остался ли он в живых, не знаю.

На центральной площади нашего города какое-то время красовался памятник Ленину, изваянный тоже нашим сидельцем из лагеря, побывавшим у нас по поводу ранения печени «заточкой». Ленин этот был каким-то нестандартным, более человечным что ли, и казалось, что поза его была больше похожа, на человека утомлённого жизнью, а кепку он снял и держит смятую в руке, чтобы, возможно, второй рукой утереть пот со лба. Впрочем, кому-то из областного или республиканского начальства такой Ленин пришёлся не по вкусу, и его заменили стандартным, с рукой простёртой вперёд. Она указывала в сторону лагеря.

КАРЛ АБРАГАМ

ОБОРВАННАЯ СВЯЗЬ

Тридцать пять лет я не была у деда. Искала могилу его по детским воспоминаниям. Прошла главную аллею, свернула налево, прошла воинское кладбище и поднялась на самую высокую точку Байковой горы. Здесь, у дороги, среди зарослей сирени, за чугунной оградкой, я обнаружила могилу дедушки. На могиле памятник, каких много: надгробная плита и стела из чёрного полированного гранита. Всё как прежде. Но что это? У самого края гранитного основания выросла огромная плодоносящая вишня, невесть каким образом попавшая сюда. Крона её усеяна бордовыми ягодами. Падая, они образуют на чёрной плите кровавые брызги. Я сразу поняла, что вишню надо убрать, иначе она своим корневищем разворотит всю могилу. Да и дедушке это ни к чему, одно беспокойство. На семейном совете с моим планом согласились, но никто из домочадцев не захотел участвовать в этом мало приятном деле. На следующий день, вооружившись ножовкой, я снова поехала к деду. Отправилась туда с большой неохотой: ещё в детстве мне внушали, что любое неделикатное действие, совершаемое на кладбище, сродни святотатству. С другой стороны, я отдавала себе отчёт в том, что дерево вишни в конце-концов разрушит памятник.

День выдался жарким и душным. Синоптики предвещали непогоду. Пока ещё небо сохраняло спокойствие, я принялась за работу. Довольно мощный ствол вишни рос впритык к надгробной плите. Я встала на колени – в данном случае это было необходимо и к месту («прости меня, дедушка!») – и решила срезать дерево вровень с плитой. То ли ножовка была тупой, то ли дерево чрезмерно твёрдым, но пилу постоянно заедало. Спелые сочные ягоды сыпались мне за ворот, на землю, но главным образом – на надгробье, отчего чёрная, отливавшая перламутром, плита окрасилась в багрово-красный цвет.

Потянуло предгрозовым, надо было поторапливаться. По небу тащились мрачные тучи. Птицы присмирели. Всё вокруг задохнулось внезапно воз-

никшей тишиной. Решив передохнуть, я оглянулась: из тёмной лохматой тучи, возникшей на горизонте, тянулись к земле пряди дождя. Я продолжила работу, уже почти лёжа на плите, и к концу совсем выбилась из сил. Наконец дерево легло набок. Только с одной стороны оно ещё держалось на свежей живой коре. Налетел шквалистый ветер, сверкнула молния, расколовшая небо пополам, где-то совсем рядом ударил гром, да так, что земля задрожала, и после этого пошёл дождь, превратившийся затем в ливень. Молнии следовали одна за другой, всё потонуло в раскатах грома. «Это силы природы восстали против меня» – подумала я. Нужно было срочно укрыться от дождя. Но как? Я с трудом подняла уже отпиленную, но всё ещё державшуюся на коре вишню, и встала под её крону, защитившую меня от воды и порывов ветра. Стою в обнимку с деревом и плачу, плачу в осознании совершённого зла и обиды: я только что своими руками лишила жизни беззащитное дерево («почему я?» – заходясь в крике, повторял внутренний голос) и теперь ищу под ним защиту от разбушевавшейся природы («каков человек!»). В тот же миг до меня дошёл весь ужас и необратимость содеянного: спилив дерево, я уничтожила последнюю нить, связывавшую меня с дедом. Пусть бы это сделал другой, совершенно чужой человек, но не я. Внезапно буря прекратилась. Лишь редкие, но крупные капли дождя всё ещё танцевали по лужам.

Работа была закончена, и тут я услышала какой-то гул, исходивший из могилы. На моих глазах декоративная плитка вокруг памятника в одном месте вздыбилась. Вообще-то я ни в какую чертовщину не верю. Возможно, что плитка приподнялась ещё до моего прихода, и я просто этого не заметила. Но глухой звук, исходивший откуда-то снизу, мне не померещился. И тут я решила отодвинуть одну из вздыбившихся плиток. Сотни, тысячи омерзительных тварей – бледно-матовых мокриц и рыжих сороконожек, спасаясь от света, опрометью исчезли в глубине могилы. После этого гул, доносившийся из преисподней, прекратился.

Дерево лежало на земле. Взявшись за ствол и ветки, я потащила вишню волоком в мусорную яму, вырытую поодаль у кладбищенской стены. За вишней устремились степенные вороны в серых пиджаках и сороки в белоснежных манишках и чёрных фрачных костюмах, склёвывающие ягоды, оставшиеся лежать на дороге. Замыкали траурную процессию несколько вездесущих воробьёв.

АЛЬБЕРТ ЛЕИН

* * *

Август при смерти. Листопад,
Парк пьянеет в последнем загуле,
Эполет золотистый наряд
Ветры серые с веток спугнули.

Потускневшую мякоть травы
Дождь жуёт, как старуха-корова,
А берёза с глазами вдовы
На опухшем лице нездоровом.

Леший плачет, смеётся в лесу,
Как погода его настроенье...
Август при смерти, ветры несут
Вздых последний его вдохновенья.

* * *

В седьмой десяток я залез,
Сорвав засовы,
С «калашниковым» наперевес
За мною совесть.

Как жил, любил, страдал и пил,
Сквозь явь затрещин.
Насколько праздник был мне мил —
Улыбки женщин.

Вам всем поклон, устала грусть
Молить о прошлом,

Удачи вам весёлый груз,
Весны в окошке.

Благополучия во всём
И оптимизма,
Пусть с вами радость в каждый дом
Придёт подлизой.

* * *

Восхищаясь, страдая и мучаясь,
Наслаждаясь, любя и смеясь,
Все мы ходим под зонтиком случая,
Только зонтиков разная масть.

Богу веровать мы не обучены,
И смакуя неверия страсть,
Мы засасываемся в грязь
Грехопраздности, совесть не мучая.

Час настанет, и нас отнесут,
Обнимая дежурностью почести,
Не земной, а Божественный суд
Разлистает душевное творчество.

Взвесят всё на весах небеса:
Кто был кто, кто есть кто, кто был Сам.

* * *

День, как изношенный значок
На выцветшей одежде,
Со скрипкой вечера смычок
В футляре спит надежды.

От угожденья он устал
В концертных раздеваньях,
Когда он музыки хрусталь
Разбил на пониманье.

Когда он скромно отдыхал
В предписанном мгновеньи,

И вновь у скрипача в руках
Делился вдохновеньем...

Целует месяца плечо
Звезда, как ангел нежный,
Со скрипкой вечера смычок
В футляре спит надежды.

* * *

Март прошумел дождливо, серо —
Неинтересный тамада,
Апрель — завистливый Сальери
С тоской проглядывает даль.

По небу облаков кочевья
Весенний ветер шевелит...
По-моцартовски май деревья
Листвой зелёной ошедрит.

* * *

Как часто знаниям вопреки,
Чужие нравы забывая,
О них тогда мы вспоминаем,
Когда доверчивость руки
Зверьё безжалостно кусает.

В который раз себя вина
В слепой доверчивости, лени,
И превращаясь в псов на сене,
Скулим о доброте спасенья,
Но не с сегодняшнего дня.

Скрывая острые клыки,
Но взгляд не утаив кровавый,
Зверьё красиво и лукаво
Звериное являет право,
Грызая доверчивость руки.

* * *

На вечность взгляни и не верится —
Быть жизни порядку иным,
Что день на вечерность разменится,
Что ночь выжидает за ним.

Метёт золотая метелица
Листвой постаревшей весны,
И смолоты времени мельницей
Деревьев короткие сны.

И вновь в опьянении воздухом,
В безудержной смене страстей,
С обманутым чувством гостей

Мы чтим раскаяньями поздними,
Истрёпанности занозами
Совсем незнакомых людей.

* * *

Не за то я люблю, не за это,
Я рождён, чтобы всех любить,
Подарил мне ребёнок конфету,
Мне её бы, как орден, носить.

Подарил мне ребёнок душу,
Ненапыщенную красоту,
Подарила конфету девчушка,
Настоящую простоту.

Вот она , доброта людская,
Без назойливости реклам...
Человек говорит улыбаясь:
«Все конфеты я людям отдам!»

* * *

Ночь за окном,
Времени ноль,
Месяца моль
Села на дом.

В россыпи крыш
Звёзды блестят,
Сонная тишь
Будто в гостях.

Спит суета
В грусти по грудь,
И пустота
Смотрит вокруг.

* * *

Облаками день в небе развешен,
Солнца луч, — балагурщик и лгун,
За созревшей улыбкой черешен
По земле разгулялся июнь.

И в сумятице зелени листьев,
Где колышется тени покой,
Ветра спят беспокойные рыси,
И коварный угар сквозняков.

И балконы раскрасив цветами,
Молчаливее стали дома,
И вороны совсем не картавят,
И скворцы на заре без ума.

И теперь парк соперником леса
И приютом гуляющих стал...
За невидимую занавеской
Гром дождя рассыпает кристалл.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Всю суетливость покрыла собой
Взволнованная сирена,
На перекрёстке постовой —
Сердце, а улиц — вены.

«Скорая помощь» к больному спешит,
Доктор, ты людям нужен,
Нарушая ровный кильватер машин,
Спешит медицинская служба.

Где- то несчастье, а может наоборот,
Счастье ни с чем несравненное —
Новый человек на свете живёт,
Бесценное драгоценное.

«Скорая помощь», волнуйся сирень,
Доктор, ты людям нужен,
Идёт по городу новый день
Спешит медицинская служба.

У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ

Склонились розы над землёй-
Заботливые няньки,
Одною связаны судьбой,
Как вдовы и солдатки.

Рассечен буквами гранит,
Кругом берёзы,
Могила братская. Стоит
Солдат из бронзы.

Как будто вздрогнул пьедестал,
И вдруг я слышу,
Солдат мне бронзовый сказал:
«Земля здесь дышит,

Здесь спят товарищи мои,
Их сон спокоен,
Когда пришли сюда бои,
Был мир раздвоен,

Свинцом расплавленные дни,
Горело небо,

И требование войны —
Воды и хлеба.

Ты видишь шрамы на земле —
Живая память,
Здесь пули оставляли след,
Летя над нами.

Здесь мы в бессмертие вошли...»
Застыли розы,
Дыхание родной земли —
Солдат из бронзы.

Ему стоять здесь одному,
Как в карауле,
И слушает он тишину,
Где пели пули.

* * *

Я устал от неопределённости,
Лижет ветер в небе облака,
Юркнул месяц, как «Титаник» подлости,
Блёсны звёзд теряя на боках.

Литургия ночи, всё, как в праздники,
Вынырнул опять из облаков,
А потом рассыпался на разности
Спелый месяц спелых облаков.

ИГОРЬ КОГАН

НЕОКОНЧЕННАЯ СИМФОНИЯ*«Иногда труднее лишить себя муки, чем удовольствия».***Ф.С. Фитцджеральд.**

Солнце показалось вдруг – всё сразу, и большой, длинный город, из конца в конец продуваемый сухими степными ветрами, ещё мгновение назад глядевший тускло и невзрачно, неожиданно проявился, разом выложив все свои отпечатки. Прохожие, стены домов, запылённые автомобили, истоптанные тротуары – всё запестрело веснушками, зайчиками, бликами. Они подмигивали, искрились, прыгали во все стороны, заставляя щурить глаза. Рядом с музыкальной школой веселее забегали ребяташки. Строже и громче зазвучали голоса мам и бабушек, ревниво следящих за своими питомцами.

Школа представляла собой неприметное двухэтажное здание, стоящее в глубине двора, серенькое и неуютное. В дверях школы горячился ветер, размахивая ими будто руками. Распахнув их в очередной раз, он выпустил оттуда миловидную девушку лет двадцати трёх, невысокую, с сосредоточенным усталым лицом, которое едва вмещало её огромные черные глаза.

День начался для неё странно плохо – как то особенно обострённо тоскиво. Ещё вечером она почувствовала отдалённую тревогу, которая медленно поднималась в ней – словно отвратительный гриб расплзлась по всему телу – заполняла мозг. Она долго не могла заснуть. Взяла книгу. Перед глазами прыгали яркие раздвоенные язычки, напоминающие змеиные жала – мешали читать. Утром она проснулась с головной болью. Утро было неопрятное. Всё небо заплывало ленивыми ожиревшими тучами, похожими на фантастических свиней. Они клубились, переливались друг в друга, свисали клочьями. Их дряблые тела вздумал было расшевелить ветер, но они быстро сожрали его, плотоядно захрюкав.

Придя в школу, она с трудом дождалась конца занятий и, отпустив учеников, вышла на улицу. Огромный комок, который уже почти два года подка-

тывал к горлу, был сегодня особенно нестерпим. Он давил, душил, выжимал слёзы. Солнце, переломившись в дрожащих слезинках, коряво обезобразило всё вокруг. По улицам поползли отвратительные жёлтые крысы. Тяжелые комья огненного дыма повисли над головой. Из самой глубины её рванулся подавленный медный стон. Она села на скамью возле школы. Попыталась взять себя в руки. Люди, идущие мимо, замедляли шаг. Удивленно оглядывались. Шли дальше.

До дома было не более пятисот метров. Преодолев их, она поднялась на пятый этаж. Вошла в квартиру. Мама ушла незадолго до её прихода, как всегда оставив на столе горячий обед. Пар от него, переплетаясь с дрожащим воздухом и солнечными лучами проникшими сквозь плотные шторы, создавал в полутёмной комнате уродливые тени, без конца меняющие свою форму. Они кривлялись и зубоскалили. Поковырявшись в тарелках, она отнесла их на кухню. Вернулась в комнату. Села в свой любимый угол на диване, и превратившись в маленький, теплый комочек закрыла лицо руками...

Настоящее растворилось – протекло сквозь плотно сжатые пальцы. Где-то в глубине памяти возникли неясные контуры. Они плыли, ломались, убегали, но становились всё отчётливей. Время стремительно бежало назад – год, второй, третий, четвёртый, пятый... пятый...

Какой долгой казалась бы нам жизнь, если бы мы не умели оглядываться назад. Оглянувшись – вспоминаем и – жалеем. Воспоминание – всегда сожаление. Вспоминаем и жалеем, что было. Вспоминаем и жалеем, что больше не повторится. Иногда просто дух захватывает – такая позади бездна. Бывает наоборот – упасть некуда. Бывает, что один прожитый день глубже и содержательней всех твоих двадцати с лишним лет жизни. Сколько воды утекло. Сколько веков чужого опыта прошло по тебе. Какие боги разлетелись в прах. Самое главное решить для себя вопрос – смог ли ты за это время сохранить себя среди плохого и, что ещё трудней, среди хорошего. Не стоишь ли ты все эти годы на одном месте? Не превратилась ли твоя жизнь в неоконченную симфонию...

Он посадил её в дальнем углу комнаты, налил водку и сказал – «Смотри». Так прошло три года. Почти каждый вечер он приводил её туда, усаживал и сразу уходил к остальным. Первое время он иногда возвращался. Садился рядом. Объяснял. Сначала она ничего не могла понять. Ей казалось, что он водит её в какой-то странный зоопарк, в полутьме которого ползали, извивались, сплетались, дико выли омерзительные потные существа, странно похожие на людей. Ей хотелось бежать оттуда, но без него она не могла сделать ни шагу. Впоследствии она привыкла и стала получать неизъяснимое наслаждение, глядя на всё со стороны. Ей доставляло почти физическое удовольствие быть среди них единственной чистой, нетронутой. Его мир жадно вцепился в неё. Сдавил мёртвой хваткой. Он отдал ей свои глаза

и она перенесла их взгляд на всё, что её окружало в жизни. Она никогда не пыталась понять, чем он так притягивал к себе. Своим ли сходством с её любимым киноактером, или густым, вязким взглядом, к которому она буквально прилипала. Она знала одно, что любит его без памяти, и что он губит её, но ей было всё равно.

С позапрошлого лета он стал везде появляться с хорошенькой курносой девушкой. Встречи, ставшие теперь редкими, он заполнял исключительно рассказами о ней. Отчаяние исхлестало её. Не давало дышать. Впервые она подумала о смерти. Ей представился золотой катафалк, который медленно уносил её к солнцу. Она протянула к нему руки, растаяла в нём и хрустальным дождём пролилась на землю. Там, внизу, злобно выл и метался зоопарк. Она упала в эту жуткую копошащуюся массу и была растаскана по каплям.

На каникулы она уехала в Ленинград. Возвращалась со странным чувством. У неё было такое ощущение, что в родной дом, в родной город она возвращается единственно для того, чтобы, если не увидеть, то хотя бы услышать его голос. Она набрала номер. Незнакомая женщина ответила, что его нет дома, что он вернётся не раньше одиннадцати. Она спросила, кто это говорит с ней – услышала: «А я – его жена».

Пальцы выпустили трубку. Странная улыбка блеснула на её лице. Вылетев из квартиры, она стремительно понеслась вниз по лестнице, по колено увязая в бетонных ступеньках. Ей в след нёсся дикий истерический хохот. Очувшись на улице, она в страхе остановилась, сраженная показавшейся ей картиной. Совсем низко, почти у самой земли озверевший ветер яростно атаковал огромные чёрные тучи, стоящие подобно гигантским крепостным бастиянам. Он врзался в них. Наваливал друг на друга. Расшибался вдребезги. Тучи методично, в упор расстреливали его огнем своих молний. Ветер, измотанный и насквозь промокший, уже не метался, а надсадно выл, словно брошенная под забор собака. Вдруг, заметив среди туч узкую брешь, он с радостным воплем кинулся в неё, надеясь прорваться. Две мощных тучи, стремясь заполнить пустоту, ринулись навстречу друг другу, сшиблись – и с диким лязгом и грохотом перемололи ему хребет...

Она лежала на грязном тротуаре. Лицом вниз. Подогнув под себя руки, она словно прижимала к груди руины своих надежд. Ветер тихонько шелестел над ней. Небо, изрешеченное маленькими тучками, напоминало гигантское сито. Солнце пропускало сквозь него свои лучистые стрелы, и они ласково впаивались в кожу.

Несколько месяцев она пролежала в больнице. По ночам он часто прилетал к ней. Садился рядом. Оправдывался. Она счастливо улыбалась ему. Притягивала к себе. Ласкала. Он, словно пушинку, брал её на руки. Летал с ней по палате. Однажды он вынес её в открытое окно. Луна мрачно освещала серое здание и оно было похоже на старый замок, а темный больничный

двор – на глубокий ров вокруг него. Он прилетел с ней в другую комнату, по стенам которой жались странные тени в чёрных халатах. Оглядевшись, она узнала операционную, хотя до этого никогда её не видела. Он положил её на длинный стол. Тени зловещим кольцом окружили его. С ужасом она узнала «зоопарк». Он взял маленький, блестящий скальпель и сказал: «Смотри – сейчас мы вырежем тебе душу». Она закричала, задергалась. Тени кинулись к ней. Схватили за руки, за ноги, зажали рот...

Чей-то голос всё время кричал – «врача, врача, врача»... Она открыла глаза. Несколько человек держали её чтобы она не металась. Вокруг была всё та же больничная палата.

Он больше не приходил к ней, и ночами она была спокойна, только иногда тихонько скулила во сне.

Выписываться ей не хотелось. Она успела привыкнуть к нейтральной больничной обстановке. К белому однообразию стен, потолков, наволочек, подушек, тумбочек. Они были ничьи. От них не пахло ничем человеческим. Это радовало. Убаюкивало. Внушало покой.

Снова оказавшись на людях, она почувствовала себя совершенно голой. Затихла. Забилась в себя. Стала судорожно искать ширму, за которой могла бы спрятаться. Ей пришла в голову странная мысль. Она придумала себя обиженным, капризным ребёнком. Купила себе маленькую вилочку, ложечку, тарелочку. Говорила надув губки. Изобретала всякие интересные слова и примеряла их перед зеркалом. Все свободное время она стала проводить дома, слушая музыку или за книгой. Больше всего она любила читать о чёмнибудь страшном и о смерти. Специально она выискивала в книгах ситуации, наиболее подходящие её настроению, и надевала их на себя. И тогда перед ней возникали фантастические видения, лишённые всяких реальных очертаний. Всё в комнате приходило в движение – книги, музыка, мебель. Вся внутренняя суть вещей выплёскивалась перед ней. Перемешивалась в необозримом хаосе. Пульсировала. Ходила на голове. Изгибалась. Она сама становилась частью этого хаоса. Плавала в нём. Барахталась. Кружилась вихрем и, наконец, без сил падала на пол... Так прошёл ещё год.

Прошлое понемногу рассасывалось в ней. Отступало на второй план. Покрывалось рубцами. И, странное дело. Чем сильнее разрастался в ней этот процесс, чем шире охватывал её, тем острее она чувствовала что перегорает, что прошлое уходит от неё, оставляя взамен удушающую пустоту, которая обволакивает её со всех сторон. Поняв это, она яростно кинулась вслед уходящему времени, ставшему теперь почти призрачным. Она жадно вцепилась в него. Сдавила мёртвой хваткой. Выгрызала из него лучшие куски, вливая в себя опиум воспоминаний. Выдумывала целые истории, чтобы тут же принять их за чистую монету. Всюду, где только можно было, она старалась подчеркнуть свою оскорблённость, униженность. «Униженный

человек – говорила она – самый исключительный и счастливый. Обида гложет, сжигает его, он горит, а не живёт с постной физиономией. Кто из вас может похвастать таким счастьем!?»

Город задышался от жары. Солнце распластало над ним своё огненное оперение и, казалось, изнемогало от собственной мощи. Ветер, похожий на высушенный скелет, раскинулся в густой пыли, высасывая из неё остатки влаги.

Она вздрогнула. Открыла глаза, и стала ходить по комнате, сжимая пальцами виски. День кончился. Ветер тяжёлым тучевым занавесом затягивал солнце, и оно, мелькнув на прощанье последним лучом, укатилось согреть другую половину человечества. Из-за плотных штор стало почти темно. Включать свет она не хотела. Зажгла свечи. В их неверном свете все предметы таинственно расплывались. Принимали зыбкие очертания. В такой атмосфере она не так остро ощущала ту глухую стену, которая отделяла её от остального мира и в которую она даже не смела постучать.

За окном совсем стемнело, и город одел свой мерцающий фрак. Она подошла к фортепиано. Откинула крышку. Медленно опустилась на стул. Клавиши забегали под пальцами. Заструились. Рассыпались. Чудесное голубое облако окутало её. Унесло в волшебный мир, где не было никого, кроме неё. Только в нём она обретала себя. Только в нём она чувствовала себя человеком. Только в нём она освобождалась от дикой щемящей тоски. Одиночества. Безотчётного, облепляющего страха.

Комок, наконец, прорвался. Слёзы горным потоком рванулись навстречу аккордам, мелодии. Смешались с ними. Она всё играла и играла, не замечая их. Не замечая того, что вместе со слезами вытекает из неё её горькая неоконченная симфония...

АГОНИЯ

Часы, как удавы, минуты, как спицы.
Секунды шрапнелью врезаются в сердце.
Мне бы сейчас самому удавиться,
Да отняли все – простыню, полотенце...

И будет агония длиться и длиться...

Внутри, словно маятник, смачно и глухо –
По ребрам, по ребрам, по ребрам, по рёбрам...
И с каждым ударом седая старуха
Все ближе и ближе нехитрым маневром...
Все ждет не дождетя...

Сквозь прорезь прицела
Следит, не мигая, пустая глазница...
Старушка! Окстись! Ну, какое мне дело!
Меня уже нет здесь! Осталось лишь тело...
Придется с досады тебе застрелиться!

И будет агония длиться и длиться...

А я уже там! Я вверху! Над тобою!
Меня не поймать! Не убить! Не заметить!
Я там! В вышине! Там возможно любое!
Там даже драконы смеются, как дети!
Вот только воды ключевой не напитокся...

И будет агония длиться и длиться...

Быть может — когда-нибудь — в будущем мире...
Мне будет позволено снова родиться.
И будет позволено, кроме сортира,
Еще где-нибудь иногда находиться...

И, может быть, я перестану лукавить,
Пытаясь примазаться к папе и маме...
Быть может, они перестанут скандалить,
Ругаться и драться — годами... годами...

И, может быть, вспомню я что-то из детства
Помимо тычков, оплеух и затрещин.
И, может быть, что-то откроется в сердце
Для Солнца и воли! Для Жизни и песен!

Быть может, озлобленный, маленький мальчик,
Стоящий в углу на коленях распухших,
Свободно вздохнет — наконец-то заплачет,
Поймёт их. Простит. Станет чище и лучше.

Быть может кармический круг повторится...

И будет агония длиться и длиться...

ЛЮБОВЬ РЕЙНГАЧ

* * *

Найти, схватить, сейчас же, мигом, и — стена!
Ни с чем вернулся поисковый зонд.
Чем мы неудержимей рвёмся к истине —
Тем и недостижимей горизонт.

* * *

Продолжая человеческий род,
Ищем все ответ одной задачи.
А, быть может, знаем наперёд?
Потому и с первым вдохом плачем?

* * *

Ходики на стенке тикают...
За стеной скрипач пиликает...
Куст с кровинкою-клубникою...
Жизни таинство великое!

Ходики на стенке тикают...
За стеной скрипач пиликает...
Куст с щекастою клубникою
Лижет чудище безликое.

За стеной скрипач пиликает...
Куст весь выпит повиликою,
Поелику пробибикало.
Ходики на стенке тикают...

* * *

Как-то потускнело в одночасье.
Редкий луч небес не забелил.
Разом навалились все напасти,
Ёжит лужи, дождь засеменял.

Подданные ропщут, нет согласия,
Но они для власти — пластилин.
Свистнул ветер, выдохнул из пасти:
Жёлтые дорожки расстелил.

Улеглись и растерялись страсти.
День ещё — очистили, смели.
Боже, не уехать ли за счастьем
На другую сторону земли?

* * *

Жизнь на месте не стоит.
Раз — листочек, два — листочек...
Лучшую из всех сорочек,
Брюки, туфли и платочек —
Он сегодня удивит!

Губы влажны, взор горит.
Пара новеньких «примочек»,
В закуточек, в закуточек,
(Лучше б двери на замочек) —
И к победе путь открыт.

Два — листочек, три — листочек...
«Как делишки? Что сыночек?
Есть не хочет? Он — не кочет.
Пусть бормочет, пусть хохочет.
...Да здоров! Какой бронхит?»

Вымотан. Уставший вид.
Вот и прозвенел звоночек...
«Дай ещё годков пяточек!»
«Время кончилось рассрочек!»
«Папазол где, ундевит?!»

Что же так в глазах рябит?
Замужем одна из дочек...
Два — звоночек, три — звоночек.
«Разрешите, локоточек?»
«Нет! Ещё один кредит!»
«Баста. Точно повредит.»
«Ну, ещё один бросочек!»
«Да не «парься» ты, браточек.
Дело делаем. Короче —
За задержку нам влетит.»

Кем-то тщательно побрит,
В самой лучшей из сорочек,
Брюки, туфли и платочек,
(Не один всё ж, среди прочих!)
Белым саваном покрыт.

«С новосельем! Вход отрыт!»
Поцелуют в лоб разочек,
Ком земли, ещё комочек,
Раз — веночек, два — веночек.
Спи спокойно, индивид!

* * *

«Послушай, ну хочешь, поедем с тобою на Рицу?
Где солнце хмельное до ночи не хочет садиться.
Где можно от зноя прибрежной волной охладиться.
Где вмиг испаряется всё наносное плюс вязкость традиций.
А, может, в Палангу, где сосны стеною и колят свод спицей?
Туда, где сокрыт горизонт пеленою и в дымке курится.
Иль так: спозаранку на поле с стернёю — прошла косовица.»
...Раскрытый балкон... полотенце льняное... как носятся птицы!

* * *

Связываю в низку я
Годы за годами.
Под чертой, под рискою
Страны с городами.

Та, по крови близкая,
С райскими садами,
Спрятанная Иския,
Та, где ныне сами.
Остров с кипарисами,
Гарда с парусами,
Пастбища альпийские —
Под стеклом и в раме.
Пресно! Пресс. «Немыслимо!» —
Бьёт в виски басами.
«Постарела!» — выстрелом.
«Я — без осязанья!»
...Что-то сердце стиснуло...
Как пред образами:
Небо Киммерийское
С звёздами-глазами.

* * *

Я иск предъявляю:
«За что мы страдаем?
И что остаётся
Когда умираем?»
«Вы сами избрали
Изгнанье из рая.
За то — достаётся
От края до края».
«А там, за тем краем
Всё? Мы исчезаем?
Ответь. Не живётся».
«В свой час, дорогая».

* * *

Надоело! — покорными
Ползти тропами торными,
Добывая прокорм. Аминь!
Вожжи... нож... Вирази!

Удалые, проворные:
Деньги, власть — что там Морганы!

Рвутся в лаз псами норными
С натяжением жил.

Ложкой — в груды икорные,
В ложах — Буддой, придворные...
Тошно! Ужин в Ливорно и —
Карусельщик, кружи!

Ночи — клубы игорные,
Героин, кока, порно и —
Стимулируя органы,
Симулируют жизнь.

Сдвинув стрелку курсорную,
Управляют дозорные.
«Как они, поднадзорные?
Мураши... муляжи...»

* * *

Ночь опустилась на землю. Не видно прохожих.
Ангел в одно из открытых окошек влетел.
...Запахи кожи, дрожь, двое, плюс узкое ложе...
Что они шепчут друг другу в такой тесноте?
«Боже, какой же ты ласковый, нежный, Серёжа!»
«Спи, моя девочка, век на тебя бы глядел.
Как я мог жить — до тебя? Заслужил, если дожил.
Ты...» — не дослушал слов ангел: ведь сумрак редел.
Помнил. Вернуться решил, но значительно позже.
«Ты...» — ведь тогда не дослушал, хоть очень хотел.
Ночь. Тишина. Плюс широкое царское ложе...
Ангел окошком ошибся и прочь улетел.

* * *

Погружаясь в склоки и в бузу.
Каждый прав, своею мерит меркой.
Забывая: всё, что здесь, внизу,
Видится ясней оттуда, сверху.

БОРИС МИЛЬШТЕЙН

ИЛЛЮЗИЯ*(Внутренний монолог стившегося интеллигента)*

Случайно посмотрел в зеркало. Ну и рожа! Оглянулся назад – никого нет. Странно. В зеркале уродина, а сзади – никого. Чьё же тогда отражение? Наверное, привиделось! Чего на свете не бывает. Отошёл в сторону – изображение исчезло. Задумался. Подошёл к зеркалу ещё раз – страшилище выжидательно смотрело на меня. Стало не по себе.

Слышал, что путников в пустыне, после обилия солнца и отсутствия воды, посещает мираж. Огляделся. Кажется, я дома. Для верности потрогал дверь – скрипит. Из крана уже месяц сочится вода, значит, дело не в жажде, хотя в горле пересохло, но предчувствие подсказало, что это какая-то другая сухость. Решил порассуждать. Что, например, было вчера? Ну, и задал себе вопросец! Аж мозги набекрень. Нет, так ничего не выйдет. Нужны какие-то ассоциативные предпосылки. Начнём с малого. Например, а какой, хотя бы, сегодня день? О, уже легче. Но оказалось, что только на первый взгляд легче. Потому что так и не смог вспомнить, какой день. Может начать с месяца? Верно, так и сделаю. Какой сейчас месяц? Но так сразу и не вспомнишь. Нужна подсказка. Давай посмотрим в окно. Так, деревья покрыты свежей зеленью. Буйствуют. Ага, значит весна. А почему я к себе во множественном числе обратился, нас что двое? В зеркале была только одна рожа, это я сейчас точно помню. Нужно перепроверить. Точно, одна. Может потому во множественном числе, что двумя глазами смотрел? Что-то очень сложно. Потом разберёмся. Сейчас не до этого. Постой, постой, всё правильно: рожа, – одна, и я – один. Значит нас – двое. Так, медленнее, чтобы не потерять мысль. Стало быть, на улице весна. Уже лучше. А что весной бывает? Тепло, можно не замёрзнуть. К чему бы это? Сухость во рту не даёт сосредоточиться.

Посмотрел на стол. Смутно припоминается, но там всегда стоял графин с водой. Графин есть, а воды нет. Потрогал руками для верности. Всего аж

передёрнуло. На столе мухи и тараканы устроили пьяные оргии. Где только деньги берут на гульбу? Совсем обнаглели. Надо же такой бардак устроить. Бутылки валяются, всё загажено... Постой, что-то не то. Пустую бутылку они всей своей наглой сворой опрокинуть не смогли бы. Так. Начинаю членораздельно мыслить! Может они мутанты? Пригляделся. Нет, размеры те же, и при моём появлении рванули, кто куда. Супермены так не поступают. Получается, что это не мираж. Может галлюцинация? А что это вообще такое? Ложное восприятие, возникающее без внешнего раздражения. Уж больно заумно сказал. Откуда что берётся? Прислушался к себе. Внутреннее раздражение есть, ежесекундно чувствую его, а вот внешнего – не ощущаю, значит, это не галлюцинация. Тогда может бред. Но бред бывает у больных, а я здоров. Погоди, а почему тогда скула болит? Потрогал рукой. Ой!!! Языком во рту нашупал прогалину, которая саднила. А зуба-то нет! Но ведь вчера был. Точно помню. Я им ещё вчера что-то на спор открывал. Стой! Я о чём-то с кем-то спорил? Значит, я был не один? Снова посмотрел на стол. Пустых бутылок что-то многовато. Смог бы я один столько выпить? Вопрос риторический, но я над ним минут пять размышлял. Для верности нужно будет попробовать. Поставлю опыт на себе. Риск большой. Но, между прочим, таким методом делались многие открытия. Открытия?.. Что же я вчера всё-таки открывал? Ладно. Сейчас не до этого. Но где же, тем не менее, зуб? Я что, после этого был у зубного врача? После чего «этого»? И вообще. Я, что, был больным? А разве после больного зуба может быть бред? Очень много вопросов подряд. Так нельзя. Не успеваю сосредоточиться. Соображаем медленнее. Последний вопрос был связан с бредом и зубом. А как они вообще могут быть связаны? Какая-то галиматья... Прикрыл глаза. Ещё Бальзаминов говорил, что в темноте лучше мечтается. Наверное, и думается тоже. И точно лучше, потому что вспомнил, я хотел попить. Среди объедков нашёл стакан. Почти чистый. Понюхал. Из стакана до боли в скуле разлило знакомым, родимым запахом. Неужто, водкой?! При одной этой мысли на душе сразу же поутихло внутреннее раздражение. Не плохо сейчас хотя бы грамм сто, лучше, конечно, сто пятьдесят, чтобы память прояснилась. Вот тоже странная зависимость. Водка, попадая в желудок, просветляет мозги. Так, не будем отвлекаться. Водка, водка... Потрём лоб. Какая-то хорошая мысль мелькнула. Ах, вот что! А если в стакан из-под водки налить воды?.. Не получилось. Только икнул. Родимый запах в живительную влагу, да ещё в домашних условиях, не превратить. Это уж точно иллюзия – несбыточная надежда.

ДОПУСТИМ

Чистоплотность порой даёт поразительные результаты, которые могут даже обессмертить имя. Представьте себе, один древний грек имел привычку ежедневно принимать ванну. И чем закончилось для древнего мира полоскание его любимого тела? Оказывается тем, что его нежное тело выталкивало при этом лишнюю воду. И вот это баловство в ванной обозвали открытием. Но на этом человеческие причуды не закончились. Имел, предположим, привычку один англичанин после утренней овсянки отдыхать на лоне природы где-нибудь во фруктовом саду, скажем под яблоней в урожайный год. И чем закончилась эта идиллия для человечества? Очередным законом физики в момент падения на его голову переспелого фрукта. А поработать? Тоже отнюдь не вредно. Вот так один русский мастеровой баловался на досуге изготовлением чемоданов, как-то приустал к вечеру, отошёл ко сну, и приснилась ему таблица элементов, которая затмила собой изобретённую им же водку. Вот так бывает!

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что чистоплотность, отдых на природе и посильный труд могут увековечить ваше имя в мировой науке.

ЕЛЕНА ЗЕЛЬГЕР

ПЕРЕМЕНА ПЕРЕМЕН

О, перемена цвета глаз,
Заговорённая на травах!
Люблю заветную отраву
Пьянящих и желанных глаз!

О, перемена цвета глаз!
В предвосхищеньи встречи чуда
Сиянье ярче изумруда
Влюблённых глаз, любимых глаз!

Темнее неба опыт глаз,
Страстней волны девятовалой!
Сжигает тёмно-небывалый
Бездонно-сине-карий страз!

О, перемена перемен!
Вершится по мгновенью ока:
Скрещенье взглядов и до срока,
Два торжества попали в плен!

ДОЖДЬ

Не замечая
Чаянья домов
Стен и простенков
Теньканья дроздов
Оков
Оттенков
Кто ты и каков

Вот так
Талантливо
Торжественно
И нежно
Пел и поил
И радовался
Дождь.

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

1

Я — понимаю тебя.
Ты, многих любившая страстно
Дрожью густой темноты,
В отсветах комнаты, красных...
И, наполняясь твоим
Вечным любви ожиданием
Обморочным ожиданием
Того, кто тобою любим,
Я понимаю тебя!

2

Высока
так, что не дотронься!
Горяча —
обжигает солнцем!
Цельнокрой
из любви и страсти,
Быть такой
необычной масти
Нелегко, —
ты и не искала:
Где тепло,
где судьбы лекало.
Тетива и стрела —
едина!
Что цена —
ты неумолима.
Вздутость вен.
Венценосность духа!
Откровенна
До боли слуха!

И честна, и грешна,
ну что же
Ты — ОДНА
и ни с чем не схожа!

3

Марина...
Шум моря,
Мерцание ночи в воде...
Марина...
Мария...
Иль это слышалось где
Той тонкой душе
НИ-КА-КАЯ
Эпоха под стать —
Вся вечность и млечность,
Как Книгу о судьбах листать.
Листами — стихами
И раню себя и лечу
Марине на память
В душе зажигаю свечу.

СВЕТУ ДНЯ

Рыцарь света —
Тенью летней,
Над мостом.

Небом синим,
Ветром сильным,
Облачён.

Мчится рыцарь —
Нет границы
Свету дня.

Между небом
И землёю —
Ждёт меня.

АГОНИЯ ЗВУКА

Те руки бледные
По чёрному блистали,
Летали птицами,
Стонали и шептали,
Листали утро...
Зачем искажено сиюминутно
Теперь твоё лицо,
А за минуту
До этого,
Соитья тайну
Не случайно
Открыл кому ты?
Скажи в лицо!

Безукоризненно рояля отраженье.
Твоё воспалено воображенье
Круженьем звуков,
Ковкою оков,
Веков и ритмов
Круговой порукой?
Любовь и мука,
Мука и любовь
В агонии звука!

НАГИШОМ

Камень раскалён
до бела —
Мне б на грудь
положить.
Нагишом,
была не была,
Всем
не угодить!
На стволе
слезою смола,
И
не удержать!

Воспарила б,
если б могла —
Не листом
 дрожать!

ПРОТУБЕРАНЕЦ

Ах, эти розы —
Осы взора Ра!
Рассвета Свет,
Реликвия Начала!
Ах, розы эти,
В дымке серебра
Бесстрашно буйствуют
Заклятьем алым!
Весенним,
Необузданным грехом
Карминно-иневый,
Безумный танец!
За зябнущим окном
Протуберанец —
Любовным знаком
В царстве ледяном!

МИХАИЛ ВЕРНИК

КАКОГО ЦВЕТА ОБЛАКА...

В нашем парке есть дерево, ему, говорят, шестьсот лет. И ещё то, что оно волшебное и, если прислушаться, можно услышать голоса ангелов, живущих в гуще ветвей. Я подошёл к дереву. Прикрыв глаза, напрягая слух. Ветер пробежал по ветвям, поиграл листьями и я услышал:

– Папа, а папа, на что похожи облака? Какие они?

– Я бы объяснил, сынок, но ты ведь...

– Ну, объясни хоть как-нибудь. Я, как все, хочу обо всём знать. Правда то, что они плывут и могут исчезать?

– Да, правда, сынок. Облака бывают разные. Те, что над нами, похожи на реку, а те, что вдалеке – на стог сена. А эти – на сети рыбака. А рядом – волк.

– Папа, почему ты замолчал, отчего дрожит твоя рука?

Я открыл глаза и увидел молодого мужчину, держащего за руку мальчика. Мы поздоровались. Ребёнку было лет восемь. Его глаза спрятаны за стёклами чёрных очков. Я погладил мальчика по голове и спросил, как его зовут.

– Папа, кто это? – спросил он.

Я представился.

– Вы стояли возле дерева, закрыв глаза, почему? – спросил отец мальчика.

– Я хотел услышать голоса ангелов и узнать у них, что такое счастье.

– Неужели и вы не знаете, что такое счастье? Это когда все, когда все кого вы любите – здоровы.

Всё можно купить, здоровье, к сожалению, не продаётся. И отец прижал к себе сына.. Мы надеемся на чудо и верим, что Бог нам поможет. Иногда мне кажется, что это временно, и однажды утром мы проснёмся, и всё в нашей жизни изменится к лучшему. Мы не теряем надежду.

– Папа кто такой Бог? Он как облако? Какого он цвета? – не унимался малыш.

- Бог большой и разноцветный, – ответил я.
- А на что похожи цвета, – опять спросил он.
- Я бы объяснил тебе, мой маленький друг, но ты ведь..
- Я знаю, – я слепой, но я, как все, хочу всё знать. Объясните, я пойму.
- Тогда слушай. Вот растёт цветок, он красный и горячий, как кипяток. А рядом с ним другой, – он белый и красивый, как кусок льда. Ты знаешь, что такое лёд? Это хорошо. Вокруг нас на земле разбросаны жёлтые листья, они похожи на золото, представь себе, что мы стоим на золотом поле.
- А что такое золото, – малыш наклонился и поднял лист. – Оно мокрое и холодное? Я не хочу такое золото, – и он подбросил лист вверх.
Я взял мальчика за руку, и мы стали расшвыривать листья ногами, – это никому не нужно богатство. Смех ребёнка разнёсся по парку.
- Всё, мой друг, мне пора домой, уже темнеет.
- А темнеет, какого цвета – вдруг спросил он.
- Чёрного – ответил я.
- А что такое чёрный цвет? Это что, плохой цвет?
Я пообещал, что в следующий раз отвечу на все его вопросы.
- Ты должен всегда помнить, что твоя мама любит тебя больше всех на свете и ты дороже ей всех на земле. Она очень счастливая мама, потому что у неё есть ты.
Впервые в жизни мне захотелось, чтобы ангелы жили в нашем парке. Я оглянулся и посмотрел на малыша. Мне показалось, что сквозь чёрные стёкла на меня смотрят доверчивые детские глаза.
Прошло время, я встретил отца мальчика. Мы были рады встрече.
- Как живёт мой маленький друг? – спросил я.
- Когда вы ушли, мой сын спросил, почему вы не объяснили, что такое чёрный цвет?
- Вы ему объяснили?
- Нет.
- Я не мог сказать сыну, что чёрный цвет ему знаком.
Сидя в парке, я часто наблюдаю за игрой детей. У них своя жизнь и свои вопросы, но никто из них не спрашивает:
- Объясните хоть кто-нибудь, какого цвета облака, ведь мы, как и все, хотим это знать...

ЧУДО В ХАНУКУ

В Хануку Всевышний не оставляет евреев без чуда, и оно свершилось в нашем городе.

Когда раввин Тевье Пинхас зажёт восьмую Ханукальную свечу и приготовился произнести молитву, в синагогу вбежал Лёва:

– Вы ещё пожалеете! Ещё меня вспомните, но будет поздно! Эта синагога рухнет. Может даже сегодня, а может и завтра. Это я вам говорю, вы ведь меня знаете, я даром ничего не говорю.

Раввин Пинхас схватился за голову:

– Товарищи евреи, не слушайте его. Он сошёл с ума. Надо же такое придумать, чтобы наша синагога рухнула. Куда она рухнет? Зачем ей это надо? Он всегда что-то придумывает.

– Да! Да! Не слушайте его. Он раньше в милиции работал. Еврей и милиционер! Он шпион! Это же такое горе для семьи!

– Лёва, скажи честно, тебе это приснилось или тебе за это уплатили?

– Это я шпион? Это я сумасшедший?

Лёва поднял голову, посмотрел на потолок...

– Тихо! Пусть будет ша! Слушайте!

С потолка, на стол рядом с Ханукиёй упал маленький камешек...

В синагоге стало тихо. Люди услышали странный звук. Казалось, скрипели стены, и ныл старый деревянный пол. Лёва страшно закричал:

– Я же вас предупреждал – спасайся, кто может! Евреи, уносите ноги!

Раввин Пинхас, обжигая пальцы, прижал Ханукию к груди, рявкнул:

– Товарищи евреи! Соблюдайте партийную дисциплину! За мной!

До самого вечера все стояли на улице и спорили, рухнет синагога или нет.

Шамес Пиня Зальцман сказал, что произойдёт чудо, и синагога не рухнет. Ведь сегодня Ханука. Но даже если она рухнет, всё равно что-то произойдёт. На него зашипели и замахали руками:

– Какое чудо? Какая Ханука? Ты что, в сказки веришь? Ты всю войну прошёл, видел, сколько там было чудес. Тебе мало?

Старое здание скрипело по швам и готовилось вот-вот рухнуть. Люди стали расходиться. Оставшись одна, синагога глубоко вздохнула. Настоящий человеческий стон разнёсся над Пересыпью. Сначала обрушилась крыша, потом стены и синагоги не стало.

Утром милиция, изображая огорчение, огородила развалины, покричала на людей, которые начали собираться, и уехала.

К обеду жители Одессы окружили развалины синагоги. Все понимали, что случилось что-то страшное. Просто так в Одессе не стоят. Все смотрели на евреев вокруг раввина. Спорили и утверждали: если бы кто-то сообразил подпереть синагогу брёвнами, она бы простояла бы ещё сто лет. Музыкант

из «Гамбринуса» дядя Марик достал скрипку, и саднящие сердца звуки поднялись к солнцу. Над толпой разносился надоевший всем голос:

– Как вам это нравится? Он ещё играет. Ему весело. Ему так лучше, чем всем. Его «Гамбринус» не упадёт. Ему падать некуда. Он же в подвале. А я говорил, я предупреждал...

Самые верующие молились и раскачивались, готовые вот-вот рухнуть, как синагога. Но надежда на чудо удерживала их на ногах. Город хоронил синагогу. Одесса плакала. Люди смотрели друг другу в глаза:

– Что дальше? Как теперь жить без синагоги? Евреи без синагоги никак не могут.

Лёва подошёл к раввину и повторил в сотый раз:

– Ребе, я же вам говорил, что она рухнет, а вы не поверили. Лёва не обманщик. Лёва знает, что говорит. Надо было принимать меры. И зачем вы этот подсвечник принесли? Никакие свечи нам не помогут. Теперь мы никто. Понимаете – никто...

Раввин Тевье Пинхас замахал на Лёву руками:

– Мишигинер! Ша! Какие меры? Мы что, должны были её руками держать? Почему мы никто? Я за никто себя не считаю. И перестань на меня кричать, я не твоя тёща.

– Отойдите! Дайте пройти. Я её найду. Вы увидите, произойдёт чудо. Я её найду!

Шамес синагоги, бывший разведчик майор Пиня Зальцман, добрался до того места, где по его расчёту должна была быть Тора. Наклонившись, он стал искать.

Лёва закричал:

– Пиня, что ты там ищешь? Там золота нет. Не смехи людей.

Но бывший разведчик голыми руками разгребал камни, и просил Всевышнего помочь ему найти то, без чего не существуют ни евреи, ни синагога – Тору.

Раввин и все уважаемые люди города давали ему советы. Но больше всего ему давали советы неевреи.

– Ищи там.

– Нет, ищи здесь.

– Немного вправо.

– Немного влево.

– Ой! И где ты ищешь?

Радостный крик шамеса Зальцмана был слышен далеко от Одессы:

– Чудо! Чудо свершилось! Нашёл! Вот она! Вот она дорогая!

И он поднял над головой свиток Торы. Перепрыгивая через кирпичи, спотыкаясь и падая, раввин Пинхас добрался до шамеса. Обняв его, раввин запрыгал от счастья и запел что-то весёлое. Не обращая внимания на при-

ехавших милиционеров, которым было интересно, успели ли евреи восстановить синагогу, люди ринулись к Торе. Лёва подошёл к милиционеру и радостно сказал:

– Я же говорил, что она рухнет. А они мне – ты, Лёва, сумасшедший. Так кто же из нас псих? Это я вас спрашиваю, товарищ милиционер? Так кто?

ПУСТЬ БУДЕТ ША!

– Ты никогда не умрёшь, – говорили соседи Ицхаку. Ты хороший человек, а хорошие люди нужны на земле. Подняв голову, Ицхак долго смотрел на небо, но Всевышнему самому было интересно, что ответит Ицхак, и он молчал: «Богу тоже нужны хорошие люди. Не может же он забирать только плохих» – и Ицхак открывал калитку. Соседи улыбаясь, заходили во двор, и Шейндл, как всегда, ставила чайник и, не прекращая что-то делать, разговаривала, спрашивала и предупреждала, чтобы никто никуда не уходил, так как скоро будет обед. И никто никуда не уходил. Соседи жили рядом, за низким покосившимся забором, и считались членами семьи. Они могли сидеть и разговаривать хоть до утра. Однажды, сидя во дворе, Ицхак посмотрел на свою жену Шейндл, которая, как обычно, сидела на низкой табуретке и общипывала курицу:

– Шейндл, – ты только не нервничай, мне просто интересно, что ты будешь делать, когда меня уже не будет, ну, ты понимаешь?

Маленькая Шейндл внимательно посмотрела на мужа, с которым прожила почти пятьдесят лет, вытерла мокрые руки, глубоко вздохнула и сказала:

– Ты не дождёшься. Сначала похоронишь меня, а потом делай, что хочешь. Хочешь – живи, хочешь – умирай, но если я узнаю, что ты собираешься ещё раз жениться, то я вернусь и...Ицхак, ты же меня знаешь, даже не думай, выбрось это из своей дурной головы. И она стала продолжать ощипывать курицу.

Ицхак снял майку и подставил солнцу свой знаменитый на всё местечко живот. Закрыв глаза он сделал вид, что спит.

Когда он впервые увидел Шейндл, ей было семнадцать лет. Она была самая красивая девушка в местечке, и у неё уже был жених. Но как тот мог сравниться с Ицхаком? У Ицхака был свой дом, хозяйство, и он зарабатывал не меньше, чем сам Сруль Ротшильд, который был большим человеком в нашем местечке. Он был директором пункта по приёму тары. Так, по научному, Сруль называл пустые бутылки. А заодно он был ещё грузчиком, бухгалтером и приёмщиком, и за всё это он получал одну зарплату. На неё он построил себе маленький домик, немного ближе к дочке и заканчивал строить ещё один, так, на всякий случай. Когда-то и он сватался к Шейндл,

но она полюбила Ицхака. Свадьба была большая и весёлая. А потом Шейндл родила троих сыновей. Фишел был старшим, и пошёл в отца. Петя был средним. Природа наградила его ростом, что не очень нравилось отцу. Однажды Ицхак долго рассматривая его, спросил у жены:

– Шейндл, по-моему, он не мой сын. Он длинный и умный, как Ротшильд. Шейндл, это мой сын?

– Мишигенер, какой Ротшильд? Ты посмотри на его глаза. Это же точно твои сумасшедшие глаза, ты что не видишь?

Ицхак присмотрелся и действительно увидел свои сумасшедшие глаза. Он поцеловал Петю.

– Иди, иди, нахес мой, иди, читай, ты будешь большим человеком, это тебе говорит твой папа.

Пете было пять лет и он уже умел читать. Ицхак не ошибся. Петя закончил восьмилетку и уехал учиться в Одессу, где стал слесарем шестого разряда. Младший, Боря, был маленьким и толстеньким. Он не хотел учиться и стал гордостью семьи – хорошим парикмахером. Прошло много времени, сыновья давно завели свои семьи, и у Ицхака появились внуки. За это он любил Шейндл ещё больше, ведь если бы не она, у него ничего не было бы.

Ицхак открыл глаза. Шейндл гремела посудой на кухне. Сегодня была суббота, и она ждала детей. Так было принято у них. Шесть дней дети работали, а седьмой проводили с родителями. Ицхак с трудом встал и вошёл в кухню:

– Шейндл. Где мои таблетки?

– Какие? От сердца или от мишигаса?

– От сердца. Наверное, у меня давление.

– У всех давление, или ты думаешь, что у меня его нет?

Шейндл посмотрела на мужа:

– Ицхак, ты мне не нравишься. Нет. Ты мне всю жизнь нравишься, но сегодня нет. Тебе плохо? Иди полежи и не ходи здесь, ты мне мешаешь. Скоро дети придут, а у меня обед не готов. И возьми жёлтые таблетки, белые не бери, они мои.

Выпив две жёлтые таблетки, Ицхак вышел во двор. Ему стало легче и он направился в конюшню. За домом, как и у многих извозчиков, были пристройки, где жили его лучшие друзья – кони. Когда-то у Ицхака было много коней, но теперь остался один и тот уже был не его. Работать Ицхак не мог, и конь перешёл по наследству к Фишелю. Узнав бывшего хозяина, конь заржал.

– Хороший, хороший, – и Ицхак погладил друга. Конь лез целоваться, и Ицхак обнял его.

Во дворе стало шумно. Ицхак положил в кормушку сено и направился в дом.

Дети помогали Шейндл, а внуки, едва не сбив деда, просились на руки.

Сев в кресло, он посадил самого маленького себе на живот, а ещё двое уселись к нему на колени.

– Не мучайте дедушку, он себя плохо чувствует, не мешайте ему.

Это была Шейндл. Она знала, что внуки будут прыгать у деда на животе, тянуть его за уши и просить поиграть с ними. А он, несмотря на боль в ногах и высокое давление, никому не откажет.

– Ицхак, я же тебе сказала, не нервничай, отпусти внуков и иди в дом. Всё уже на столе.

Внуки, взяв деда за руки, тянули его в разные стороны.

– А ну, тяни, ещё, ещё. Ицхак с трудом встал. Сидя на главном месте за столом он посмотрел на всю свою семью. Все в сборе. Петя, как самый умный, взял рюмку и произнёс тост, такой же, как всегда произносил на праздники, когда семья была вместе:

– Предлагаю выпить за папу и маму. Пусть они будут здоровы и мы вместе с ними!

За это Петю любили. Два-три слова, и все счастливы. Пустые рюмки ещё были в руках, когда в дом зашёл сосед-украинец Коля с женой. Потом Аврум с детьми и женой Ховой, которая была сестрой Шейндл. Затем пришли все, кто любил куриную шейку, приготовленную хозяйкой. Ицхак гордо сидел во главе стола и гладил живот.

После обеда все вышли во двор, и расселись под абрикосовым деревом. Коля обнял Аврума, сказал, что любит его, как брата, и спел свою, всеми любимую, украинскую песню. Потом, обсудив местные и мировые проблемы, все разошлись по домам.

Лёжа в кровати, Ицхак смотрел на жену. Их разделяла тумбочка, на которой между слониками лежали коробочки с лекарствами. Он протянул руку и коснулся одеяла.

– Ты же хотел сегодня утром умереть, что, передумал? Или ты хочешь меня поцеловать?

Ицхак молчал.

– Ицхак, что у тебя на сердце, выскажись, тебе станет легче, не молчи.

– Ты знаешь, я наблюдал за тобой и хочу тебе что-то сказать. Ты, ты просто красавица. Нет, я не могу умереть и оставить тебя одну. Ты без меня пропадёшь. И вообще, почему я думаю о какой-то смерти именно сегодня? Я чувствую себя хорошо и хочу прожить с тобой ещё сто лет.

Шейндл встала, укрыла мужа одеялом и поцеловала его. Любопытная луна заглянула в окно и увидела спящего Ицхака с улыбкой на лице. Его рука свисала и крепко держала коробочку. На полу лежали белые таблетки...

К обеду, во дворе не было свободного места. Люди молча смотрели на Шейндл. Фишел и Боря не отходили от матери. Хова держала сестру за руку

и причитала, но никто не мог понять ни единого слова. Петя держал в руках тумбочку, на которой между слониками лежали лекарства. Каждые пять минут он почему-то обращался к тем, кто молчал:

– Пожалуйста, пусть будет ша, пусть будет ша!

Коля давал указания всем, кто хотел помочь, как и что делать. Потом он подошёл к Шейндл и спросил:

– Шейндл, дер ребе ист да. Вус золь их им зуген. Эр виль мит дир реден.

– Коля, Ицхак хот а муле гезукт, дас ду фюр им, ви айн бридер. Мах, Коля, але аляйн.

– Гут, Шейндл, гут. Гей арайн ин штиб.

Коля сделал всё сам и даже в похоронной процессии расставил всех по местам, в зависимости от родственных и дружеских отношений с покойным.

Музыка заиграла, женщины закричали, мужчины перестали говорить о делах, кортеж двинулся в сторону кладбища. Шейндл шла за гробом и разговаривала с Ицхаком. Она напомнила ему об обещании не умирать, просила его там не скучать и готовиться к встрече с ней, что там его одного не оставит. Ведь он без неё там пропадёт.

Шейндл сдержала слово. Но Ицхаку пришлось долго ждать. Она умерла в девяносто четыре года...

За год до смерти Шейндл я посетил её. Маленькая, седая, почти слепая и очень похожая на мою бабушку Хову, она с трудом узнала меня. Потом долго расспрашивала о живых и мёртвых и просила, чтоб я не забывал её, приезжал в гости. Я пообещал ей это и слово сдержал.

ФИМА-ДАЛЬНОБОЙЩИК

Фиму долго не могли найти. Он пропал сразу. Как в воду канул. Но если честно, то его никто сильно и не искал. А когда нашли, сразу же забыли. На это была причина...

Маленького роста, с длинным носом, Фима любил большие машины, красивых женщин и ещё он любил выпить. Когда он пил и доходил до кондиции, то забывал о своём росте, длинном носе, и постоянно недовольной всем жене. Чем больше он пил, тем меньше обращал внимания на жену. Фима был пьяницей. Настоящим алкоголиком. Пить он начал сразу после того, как научился курить. Сначала, пил скрытно, чтоб не узнали родители. Потом, – чтоб не узнала жена.

Когда Фима с женой и детьми приехал в Германию, он удивился, что на улицах не видно пьяных. На каждом углу пивные бары, а пьяных нет. Но прошло время и Фима понял, что пьяниц здесь не любят. И он стал пить в

укромных местах. Перед тем, как зайти в дом, он открывал багажник машины и прямо из горлышка выпивал бутылку недорогого бренди. Машины Фима водил пьяным. Он говорил, что пьяным видит дорогу лучше, чем трезвым.

Можно подумать, скажете вы, что Фима ничего другого в жизни не делал, а только пил. Нет, конечно, нет. Он ещё работал сапожником. Но жена, спасая сапожную мастерскую от Фимы, продала её приличному человеку, когда муж спал на грязном полу в подсобке.

Тогда Фима впервые ударил жену. Маленький Фима бил маленькую жену, нанося ей слабые и неточные удары. Жена, не долго думая, впервые ударила мужа. От удара он свалился на пол и заплакал. Потом они оба сидели на полу и плакали. Фиме было стыдно, что он её ударил, а ей было жаль его. И тогда они решили. Фима должен стать дальнобойщиком. Во-первых, за рулём он пить не будет, иначе его посадят в тюрьму. Во-вторых, в дороге он забудет о своих друзьях-алкоголиках и станет человеком. И Фима стал дальнобойщиком. Он ездил по дорогам Европы и увидел Францию, Италию, Швейцарию, и ещё много интересного. Пить он не перестал. Прошло время, и после очередного рейса Фима заявил жене, что больше он дальнобойщиком не будет. Ему надоело всё. Особенно большие машины и асфальт.

Он опять вернулся в сапожную мастерскую. Здесь был его мир. Он вдыхал ядовитый запах клея, родной душок застарелых туфель, и опять стал пить. Жена предупредила, что уйдёт, а он один пропадёт. Фима становился на колени, клялся, что бросит пить ..., и бросал. Несколько дней в доме царил мир. Он приносил деньги. Жена ласкала маленького проспиритованного мужа и украдкой вытирала слёзы. Она знала, – это счастье ненадолго. Утонув в объятиях жены, Фима просил Всевышнего дать ему силы, чтобы бросить навсегда пить. И Всевышний сжалился. Он дал ему силы. Две недели он не пил. Глаза у него стали чистыми, он стал улыбаться. Дочь была счастлива. Отец гулял с ней и покупал мороженое.

Потом... потом Фиму домой привели друзья. И наступило страшное время. Домом для Фимы стала мастерская. Первое время он ещё работал, потом ровно столько, сколько выдерживал его погибающий организм. К нему приезжала скорая помощь. Все важные органы организма не желали больше ни водки, ни вина. Они отказывались работать. Фима медленно угасал. Жена оставляла его. Ведь она его предупреждала. Дочь боялась спросить у матери, где отец. Впрочем, мать всегда отвечала, что он умер. И даже плакать ей не разрешала. Говорила, что он сам виноват, и что если всё будет хорошо, у неё появится новый папа.

Потом Фима исчез. Говорили, что он умер. Кто-то сказал, что он попал под электричку. Говорили много и неправду. Правды никто не знал. Его перестали искать. О нём все забыли. Человек перестал существовать. Мама,

как и обещала дочери, привела ей нового папу, – усатого турка Мустафу, человека доброго, владельца успешного ресторана.

Нашли Фиму случайно его друзья. Собрались они в парке выпить, и познакомились там с бомжем. Тот выпил с ними и узнав, что они русские, рассказал что у них в общежитии живёт странный русский. Всегда пьяный, ни с кем не общается, пьёт в одиночестве. Дела со здоровьем у него плохи.

Друзья решили пойти в общежитие, познакомиться с земляком. Им оказался Фима. Сначала он никого не узнал. Потом спросил, отчего они без водки и не мог вспомнить, кто перед ним, пригрозил вызвать полицию. Друзья его успокоили и пообещали сходить за водкой, ушли, но к Фиме не вернулись. Они выпили в парке и разошлись по домам. Один из них позвонил к родственникам Фимы и сказал, где он находится, но те к Фиме не пошли.

Фима умер в том же году. Но не от пьянства, а от тоски и одиночества. И ещё от того, что у его дочери новый папа – Мустафа.

ИННА ИОХВИДОВИЧ**ШИНЕЛЬ**

*«...ведь нельзя же залезть в душу
человека и узнать всё, что он ни
думает!»*

Н.В.Гоголь «Шинель»

Лёня Якименко ненавидел бром, которым его, как возбудимого и впечатлительного ребёнка, поила мать. Он покорно глотал резко пахнущую валериану и противный пустырник, бром же вызывал почти рвоту, впрочем – нервную. И вот почему. Едва Лёня на цыпочках, /хотя раньше сбегал со своего пятого/, достигал первого этажа, за одной из дверей начиналось склочное погавкивание, яростно нараставшее по мере его приближения. Это лаял проклятый Бромик – крохотная гладкошерстная собачка, тельце которой еле держали тонкие кривоватые лапки – радость, гордость и успокоение старого доктора, жившего на первом этаже. Бабушка говорила Лёне, что бром – успокоительное средство, и врач-старик, нажившийся на подпольных абортах, специально так и назвал собачку – свою усладу. Бабушка беззлбно называла Бромика «еврейской овчаркой», и сама смеялась при этом и вытирала слёзы в уголках глаз. Лёне было не до смеха. Бромик являлся ему во сне, но только – неожиданно огромным, правда, такими громадинами во сне была и прочая, внушавшая ему ужас, нечисть: тараканы, клопы, летучие мыши, крысы, устроившие себе на дворовой мусорке посиделки... От ночных страхов он писал в постель, от дневных – слезами заливался. Действительно странным мальчиком он рос, к тому же смешливым и дурашливым. Единственно безопасными местами ему представлялись – постель, в которой, укрывшись с головой одеялом, он был скрыт от ночных напастей, да старое отцовское кожаное пальто на вешалке в коридоре. Обвернувшись им, пропахшим кожаной пылью, будто в новую неприступную кожу, он был неуязвим; оно было и бронёй, и щитом, успокаивало. Кроме

того, оно было неотделимо от во все сезоны ходившего в нём отца, хоть строгого и большого защитника и спасителя.

Отец был удивительной фигурой в этом женском, не считая Леонида, царстве: среди матери, бабушки и обеих сестёр. Видно, не мог он сладить с ними со всеми, и потому, придя со службы и отобедав, подолгу лежал бездвижено, лицом к стене. Мальчик точно знал, что не спит отец, слишком выразительно-бодрствующей была его спина. Он словно отгораживался ею от них от всех, как-то автоматически зачислив и сына во враждебный бабский лагерь.

К тому моменту, когда отец внезапно и быстро умер, Лёню приняли в пионеры. Бабушка рассказывала внуку, что отцу неправильно поставили диагноз, что то был аппендицит, а врачи считали, что колика, и засадили в ванну с горячей водой. И хоть как ни кричал, ни выл, даже бился отец, его не выпустили из ванны: держали насильно. В ней он и скончался.

Так третьеклассник Лёня впервые попал на кладбище, где его прилюдно заставили попрощаться с мертвецом. Обливаясь слезами, поцеловал он отца в холодную щёку, а потом, сконфузясь, вытирал слёзы концами нового алого галстука. Всё время, пока оркестр играл похоронный марш, а гроб на полотенцах спускали в могилу, Леонид держал «пионерский салют», так, что под конец рука заныла, а опустить, ведь он себе «честное пионерское» дал, нельзя было. Больше всего хотелось ему побыстрее очутиться дома, чтобы забраться под отцовскую кожанку, где тихо и мирно, и не было всех этих жизненных страхов.

Дома он тотчас забрался под неё и заснул, и ему даже сон приснился: отец, как всегда, лицом к стене, и спина его вечным укором, молчаливо протестовала – и в этом было счастье.

В шестнадцать лет Лёня сам одел отцовскую кожанку; как и для многих старых вещей, для неё не было разрушительным это самое время. В ней он блаженствовал, она была для него вроде каркаса, который держал его сущность, не давая расползтись.

Бромик подох, умер и его хозяин, да и бабушки, подхихикивавшей над стариком-врачом и его собакой, не было в живых. Лёня с матерью остались вдвоём; сёстры поехали в столицы (одна в Москву, другая в Питер) учиться, повыходили замуж да и пооставались там.

По-прежнему, отцовское пальто умиротворяюще действовало на Лёню. Соседи с удивлением взирали, как летом он курил на балконе, накинув кожанку на плечи от лёгкой вечерней прохлады. Неведомо было им, что так он спасается от страха перед ними, перед тем, что их обкурит, и они будут жаловаться на него в домоуправление. Ведь он запомнил, как зимой, когда он курил в уборной, нервно оглядываясь на ходившую ходуном ручку двери, теребимую нетерпеливым соседом по коммуналке, он спалил газету,

вроде бы, чтобы уничтожить за собой неприятный запах, а на следующий день пришли из ЖЭКа проверять дымоходы; соседи сверху пожаловались, что на них тянет дымом. Соседей он боялся смертельно. И нижних, и верхних, и тех, кто справа, и слева, а, особенно тех, время от времени сменявшихся, что проживали с ними. Конечно, считал он, во многом виновата и мать, находившаяся в извечном конфликте со всеми, с кем приходилось жить. Она подозревала их во всевозможных пакостях, начиная от порчи вещей и пищи, и заканчивая покушением на жизнь. Однажды она сообщила Лёне, что очередная соседка хочет извести их со свету газом, специально включает газовую колонку, а горелку не зажигает, затем плотно закрывает свою дверь, и, наверное, распаивает у себя в комнате окно, несмотря на трескучие морозы.

– Но, мама, – пытался резонно рассуждать Лёня, – она сама задохнётся. Подумай, о чём ты говоришь?

– А может у неё иммунитет, невосприимчивость к газу, а нас уморит! Сколько, вон, читаешь, людей позадыхалось – тьма, – объясняла она, победно поджимая губы.

И он начинал чувствовать этот удушливо-лезущий запах, и, задыхаясь, раскрывал окна, вдыхая морозный воздух огромными судорожными глотками.

Вырос Леонид негромко разговаривающим, с вкрадчивой неслышной походкой; ему чудилось, что только ступи он по-настоящему, по-мужски, тут бы соседи и застучали бы негодуя по трубе парового отопления, так он и проносился над полом чуть ли не ангелом порхающим. Любая поломка – выход из строя сантехники, водопровода, газа, электричества, бытовой техники, радио и телевизора – приводили его в отчаянье; казалось, что вот-вот разразится, в чём-то подобная мировой, катастрофа.

Лёня решил писать, он слышал, что таким методом можно успешно бороться и победить страхи и прочие недуги. Но дальше фразы: «Я сын несчастного инженера...» дело не пошло. Он задумался и больше уж не написал ни единого предложения за всю свою последующую жизнь. Ему вдруг пришла в голову потрясая его, обжёгшая, как кипятком обварившая всё внутри, мысль: не должно оставаться никаких материальных доказательств процессов мышления.

Он вспомнил, как перехватывали учителя записки, конфискуя девичьи дневники, зачитывали их перед классом, вызывали на педсовет родителей. «Страшно, когда узнают, что думает человек!» – посетил его, – «Нет, нельзя этого делать, никак нельзя, – решил Лёня, и вдруг придумал выход – можно просто думать!!!» И об этом-то наверняка никто, никакие прокуроры и судьи, никакая служба безопасности – не дознаются, а детекторы лжи, слава Те Господи, только в Америке. И стал он в раздумьях проводить всё своё время, свободное от учёбы да работы.

Образовалась у него, как у других – библиотеки, фоно – и видеотеки, – своя коллекция. Коллекция мыслей. Лёня радовался: ведь то была «незримая» коллекция! Много в ней было различных мыслей. Время от времени он словно бы нырял вглубь себя, вытаскивая на поверхность какую-нибудь из них, перемусоливая её так и эдак, и снова драгоценную прятал глубоко. Были у него и любимые, вроде той, что будто бы его вырастили в пробирке, как выращивал зародыши итальянец Петруччио, о котором когда-то много писали в газетах. А теперь, и до конца дней, будут учить всему. Или о том, что бабушку можно было спасти от смерти и, более того, сделать молодой; так же как-то закралась в него, мысль что он великий, может быть, самый великий мыслитель всех времён и народов, только пока что этого никто не знает, да ещё о том, что Леонардо да Винчи был самый что ни на есть средний человек, каким и надлежит быть каждому, а если все ниже нормы, то нечего человечеству и существовать: недостойно оно и обречено на гибель...

Но раз с Лёней всё же случилась промашка. Не сдержался он, выпустил свою внутреннюю, потаённую жизнь наружу. Произошло это в исполкоме, куда пришёл он в очередной раз о квартире хлопотать. С очереди, давней, их сняли ещё когда отец умер; увеличивались подушные метры на каждого, хоть и стоял покойник на очереди с сорок шестого года, сразу после фронта. Потом в очереди всё же восстановили, но умерла бабушка, не дождавшись заветной изолированной, разъехались сёстры, и стало вовсе туго: получалось, что у них в двух смежных комнатах в коммуналке – большой метраж. И, отправившись в свой поход в жилотдел исполкома, Лёня, негодяя раскричался, о том, что стоят они в очереди больше тридцати пяти лет, и неужто его матери не дожждаться, тоже в коммуналке сгнить?! Он орал о мёртвой бабке, о врачах, сгубивших отца, о старшей сестре, умершей несколько лет назад при родах, о младшей, живущей в Ленинграде в общежитии, о себе, неприкаянном... И, незаметно для себя, выплеснул ужасающую его мысль, одну из самых секретных в его «коллекции» мыслей: «Да вся эта система – и здравоохранение, и соцобеспечение, и коммунальная, и жил-строительство, и суд – всё-всё направлено против человека! Это геноцид собственного народа!»

Он в запале и не заметил, когда они успели вызвать милицию. Те забрали его в подрайон, проверили данные в паспортном столе и вызвали другую бригаду. Лёня вздрогнул, увидев санитаров-гигантов, – это была расплата за выплеск. Про дальнейшее – поездку в «психиатрической скорой», «буйняк», в который его засадили по приезду в больницу, весь последующий месяц в психушке – он не любил вспоминать. Да и невозможно жить человеку с такими «воспоминаниями»! Он и похоронил их в себе. Разве что стал носить с собою хоть какие-нибудь деньги: обозлённые санитары, обшарив все его

карманы, обнаружив лишь двадцать копеек да талончики на транспорт, избили его, как и в милиции, – умело, без следов.

Из-за ночного недержания мочи не взяли Лёню в армию; повезло ему очень, ведь в те годы брали всех, даже заведомых инвалидов.

Отучился он, не без трудностей, в вечернем электромеханическом техникуме.

Он часто подумывал о женитьбе, да что-то никак не выходило. Может быть, из-за постоянной привычки думать он не решался с девушками ни на что. Подчас ему казалось, что и к лучшему это, что в мечтах можно проделывать с ними всё, что заблагорассудится. А всякий раз, когда приходилось ему действовать, то пропадал к этому интерес, становилось блекло, скучно и тоскливо. К тем девушкам, что нравились ему, он и приблизиться боялся – могли подумать, что он назойлив, что пристаёт, – так ни разу он и не осмелился, хотя сотни раз проделывал это мысленно. А женщины, что были постарше и, как он знал, охотно пошли бы навстречу его желаниям, были и совсем не нужны ему. Ходил он со своими тревогами к сексопатологу, тот его заверил, что с физической стороны всё у него в порядке, нужно только побольше уверенности в себе, а главное, ни о чём в тот миг не думать, а тем более о последствиях. А как можно было быть самоуверенным или не думать? Недоумевал и терялся он. Со времени неудачного занятия писательством он приучил себя думать всегда! Быть же уверенным в себе он мог только в выдавшей виды отцовской кожанке. Но ведь не ляжешь в кожаном пальто в постель с женщиной?

Работа его в пусконаладочном управлении была связана с разъездами и командировками. Бригадой выезжали они и месяц-полтора проводили на объекте. Жили в гостиницах. Коридоры и номера провинциальных отелей были для Лёни продолжением коммуналки, где невозможно было уединиться.

Обычно, вечерами собирались бригадой в чьём-нибудь номере – выпить, закусить, поговорить. Лёня сдавал свою долю денег в общую кассу, в складчину, но на пьянку старался под каким-нибудь предлогом не пойти или улизнуть после первой же стопки. Ему претили одни и те же разговоры про баб или евреев, его даже не утешало, что на свете есть ещё большие изгои, чем он: женщины и евреи. Ему только и хотелось, что побыть одному, порыться в «коллекции», получить от этого удовольствие. Он был равнодушен к молве о себе, дескать, занимается в номере онанизмом а не пьёт потому, что шизик – лекарствами накачанный.

За стеной слышались взрывы хохота, но отключив внешний слух, Лёня как бы услышал голос сестры, хлопотавшей по обмену квартир – две их смежные комнаты на одну, тоже в коммуналке, но в Ленинграде. Перед своим отъездом она разговаривала по телефону с наблюдавшим Лёню врачом-психиатром, и

тот разъяснил ей, что у них могут быть трудности с обменом из-за того, что после исполкомовского случая Лёня состоит на психучёте. «И как ещё можно квалифицировать это, как не нарушение прав человека, как не геноцид», – спокойно, не как перед посадкой в психушку, констатировал он.

Лёжа, он мирно размышлял, пока равномерное течение его мыслей не стала вытеснять тревога. Отчего она родилась? В чём были её истоки? Он бы не мог сказать. Он пытался анализировать события последних дней – ничего особенного, если не считать, что начитался он научно-популярных журналов и фантастики. Что было ещё? Да вроде бы и ничего, вчера в кино-театре смотрел старый фильм, гоголевскую «Шинель» с несчастным Акакием Акакиевичем в исполнении Ролана Быкова. И странно связывалось вот что: буквально за день до вчерашнего фильма в одном из журналов, в какой-то статейке, он прочёл, что «акакия» – означает «прах». И что «акакию», горсть праха в мешочке, держал в одной руке византийский император, уравновешивая скипетр в другой. Но не это, нет, не это его взволновало. «Что же? – заметался он снова, – кажется, кажется...» В одной из фантастических книг было про мыслеулавливателей, про специалистов-«щупачей», схватывавших чужие мысли. «Фу, бред какой-то!» – был он весь дрожащим и вспотевшим. Но, несмотря на то, что обругал себя, в нём продолжалось: «Нет, этого не может быть! И в СССР этого не будет – не то развитие науки и техники! А если всё-таки будет? Куда же скрыться? Некуда бежать??? Ты весь на виду, на ладошке, и прихлопывать даже не надо, ты – комашка, даже и прихлопа не стоишь, чего об тебя руки марать! М-о-о-жно контролировать, манипулировать, роботизировать... ровать...ровать...ровать...»

Лёня вскочил с дивана, но в тот же миг радостно-возбуждённо вновь плюхнулся на него Он ликовал! Он нашёл выход! И это было так же просто, как и всё гениальное! Эта мысль вспышкой озарила темноту его естества. И как же это он раньше не дошёл до этого?

«ЕСЛИ ПРИДУМАЮТ ЧТО-НИБУДЬ ЭДАКОЕ, ЧТО И МЫСЛИ СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ, И ДЕТЬСЯ НЕКУДА БУДЕТ, Я ПЕРЕСТАНУ ДУМАТЬ!»

Уснул он успокоенным, считая, что нашёл выход из самой главной грозящей ему опасности.

Стояло погожее апрельское утро, но Лёня решил надеть кожанку, чтобы полностью ощутить душевный комфорт после посетившего его вчера конгениального решения. Он полез в гостиничный шифоньер. Пальто, ещё вчера им бережно повешенное на пластмассовую вешалку, исчезло. Обмякнув, он рухнул на стул. Вертевшийся тут же молодой, с симпатичным румянцем на всю щеку, похожий на киношного Леля из «Снегурочки» Витёк хихикнул:

– Лёнчик, мы ещё вчера, это твоё, прости Господи за название, «пальто» выбросили на мусорку.

– А-а-а, – Лёня не мог даже отвечать, он только, раскачиваясь, стонал.

– Чего расстраиваешься, Лёнь! Мы с ребятами сбросились и купили тебе классную куртку на толчке, фирмовую! Рассудили так, сколько ты уже денег на выпивку сдал, а сам ни капли. Мы тебе должны, мы и купили.

– Словно в фильме, дверь в номер распахнулась и, под звуки исполняемого ими самими туша, вошли ещё трое парней, неся куртку.

– О-о-о, – монотонно выводил Лёня.

– На, носи на здоровье! Носи! И сам не срамайся, и нас не срами, как в том кожане, – торжественно, как праздничную речь, произнёс бригадир.

Лёня продолжал стонать, раскачиваясь, и не отводя взгляда от тёмной пустоты раскрытого платяного шкафа.

– О-о-о-а-а-а-у-у-у-ю-ю-ю-а... – выливались из него гласные звуки, будто весь он состоял из них, а слова и не появились вовсе.

КОШМАР

В такси у него занемели виски. Когда шофёр переключил скорость, машина словно воспарила над асфальтом, и он с удивлением ощутил невесомость. Может, это только примерещилось с похмелья, но тело, потеряв свою грузность и массу, будто бы существовало в легковесной дрожи ног, во внезапной пустоте желудка, в утренней затхлости рта. В зеркальце Виктор Кузьмич увидел себя случайно, когда, перегнувшись, хотел сказать таксисту, чтобы тот так не гнал. И особенного ничего – знакомое, слегка побледневшее после выпивошничьей полубессонной ночи лицо, как всегда резкие носо-губные складки. Прорезавшиеся за сутки темноватые волоски щетины, припорошенные перхотью волосы и брови. Если б не мгновение, за которое его глаза проделали путь от своего отражения в зеркале до скрытого крупной курчавой бакенбардой лица шофёра! Что-то случилось, что-то сломалось за это мгновение в нём, внутри него. И зеркало отразило всё это так быстро, так чётко, что он содрогнулся от этой неумолимой ясности. Смотрели изумлённо глаза, не веря, а в них уже змеился, мелькал, рассыпался страх. Страдальчески кривились губы, удлиняя складки морщин. Он был объят, оглушён, придавлен, сражён... Он был во власти боли. Комком поднималась она от пустого желудка, поднималась вверх, к бьющемуся в дрожи горлу. Она была ступком и вместе с тем заполняла всё тело, застила глаза и оседала на крыльях носа, жгучая, запелёнутая в покрывало тошноты, она была невыносимой! Шофёр обернулся на стон и притормозил.

– Может, в больницу везти?

Виктор Кузьмич, мыча, покрутил головой, выдавил: «Домой!»

– Как хотите, мне всё равно, – игриво крутанул шофёр баранкой.

Боль отпустила его, но, чувствуя её затихавшую поступь, он знал, что не ушла она, а только затаилась. Он положил ладонь на живот, ремень он расстегнул ещё раньше, и лёгкое подобие улыбки поколебало его рот и прикоснулось к векам.

– Это у вас похмелье такое? – Бакенбарды говорили, просто чтобы поговорить. Шофёрский голос всколыхнул уснувшую боль. Он снова застонал, и она исчезла.

«Что бы это? Как же это? Мне тридцать пять, так рано это не бывает. Это с перекуру, с перепоею, с ненормального образа жизни. Переутомление, постоянный стресс. Всё это и сказывается». Он сказал себе это и много чего ещё другого. Зная, что всё это неправда, прикрытие, обман себя, ложь, наконец. Что он боится этой боли, мучений, того, что предстоит... Боится правды! И запрыгал в нём, застонал торжествующий страх. Надо было выплеснуться, хоть малую толику передать окружающим, не одному же ему корчиться, изнывать, невыносимо страдать. Он вытряхнул из пачки сигарету, угостил эти противные, густые, курчавые баки и со злорадством, погибая от обиды и жалости к себе, сказал:

– У меня рак!

С удовлетворением он отметил, как испуганно обернулся водитель.

– Рак, сам знаешь, как это кончается... – продолжил он.

И тут же неожиданно для самого себя Виктор Кузьмич почувствовал, как наткнулся на препятствие между шофёром и собой. Это было всё сразу: и поле, и стена, и граница, и река... всё, что не в силах были преодолеть ни один, ни другой. Отныне он, Виктор Кузьмич, был на другой стороне для всех остальных, живущих на земле. Он не мог им передать ничего своего – ни стоны, ни страха, ни боли... Даже если бы страх слезинками скатывался из глаз его, он бы не смог никого заразить им! Они были бесчувственны, у них был иммунитет жизни! А он-то, дуралей, выдав тайну, сам поставил себя за чертой.

С шофёром он расплатился сухо, но на чай дал. Вошёл в подъезд, не оглянувшись, словно тот не был единственным человеком, знавшим о нём страшную, последнюю правду.

Лариса гладила, собираясь на службу. Она не ответила на его «здравствуй», но сейчас это было и на руку. Не нужно было объясняться, оправдываться, говорить потерявшие всякий смысл слова. Только перед самым уходом она спросила:

– Ты что, если с гулянки, так и на работу не собираешься?

– У меня отгул, – ответил он первое в голову пришедшее.

Она начала охорашиваться перед зеркалом, а он, лёжа на диване, наблюдал за ней, и то лишь потому, что она была движущейся яркой точкой в тесноте комнаты. Он видел крепкие, со вздувшимися пучками вен ноги, тяжело

ступавшие в туфлях на высоких каблуках; юбку, натянутую на ягодицах, туго сидевшую на бёдрах; оголённые руки с огрубевшей темноватой кожей на локтях; рифлёнка натягивалась на поролоновом бюстгальтере, вобравшем в себя распластанную, вислую грудь; высокий ворот закрывал шею, доходя до двойного, как и у него, подбородка; лицо – алевший рот, припудренные щёки и нос, большие, внимательно всматривающиеся вокруг глаза. Всё это было живущим в иной стихии, в другом измерении, в сутолоке и гаме жизни. Ему вновь стало нестерпимо, отчаянно обидно, жалко себя. Ладно, пусть чужой не понял, отвернулся, замкнулся в себе, но она должна же понимать! Ведь прожили двенадцать лет, пусть плохо, тягостно, без детей, подозревая, мучаясь, ненавидя... Но вместе же!!!

– Лара, – хотелось сказать ему, – мне страшно и больно. Я не хочу умирать! Спаси меня! Как хочешь и чем хочешь! Я хочу жить! Спаси меня! Спаси! Меня! Меня...

Он приподнялся, потянувшись к ней, может миг – и рухнул бы на колени. Но она, оторвавшись от зеркала, намазывая губы помадой и блеском, сказала: «Выдыхай свою пьянь! Так тебе и надо, помучайся!» «Выдыхай» она произнесла с такой злобой и презрением, как – с д ы х а й ! Он, упав на диван, лишь процедил: «Сука»!

И она ушла. Почему б ей было не уйти из его жизни ещё тогда, радостной и пугливо-тревожной девушкой, вот также повернув ключ в двери, а не оставить в воспоминанье синеватые узелки вен на ногах и выдохнутое порывом «сдыхай»? Она была искренна и смело перешагнула границу, перешагнула, чтобы добить.

Он перевернулся на спину, зачем-то пытаясь на белизне потолка воссоздать какие-то картины, увидеть и проследить свою жизнь, понять что-то. Зачем, почему, для кого делал он это, неизвестно. Но почему-то упорно стремился вспомнить всё-всё...

Но исчезло даже воспоминание о вчерашнем вечере. Помнилось, что их было четыре пары и они пили, пили, пили... Он не помнил ни имени, ни лица, ни глаз женщины, с которой был, осталось только ощущение молодости и гладкости тела, какого-то яростного сопротивления в ней.

Так пролежал он до сумерек. Вернулась с работы Лариса. Включила телевизор, сама ушла на кухню. Его, мужа, для неё уже как бы и не существовало, словно своим «выдыхай-подыхай» она навсегда разделалась с ним.

По ТВ шли известия, не вызвавшие у него даже смутного интереса, потом начался хоккей. Он бесстрастно следил за перемещением шайбы, за стремящимися к ней игроками, за зрителями, бурно выражавшими свои чувства, будь то прижатие к бортику, свалка или гол. Он даже не удивлялся этому, потому что и удивление тоже было оставлено им там, на другом берегу. Он видел вокруг реку, тёмную и бездонную, которая со всех сторон разлилась

между ним и миром, и даже телевизор колыхался где-то далеко, светя своим призрачным голубоватым светом. В темноте, при затихшей боли, придремал и страх. Изнурённое тело как будто бы покачивалось в волнах...

Свист был оглушительным, потом он перешёл в гул, а ещё потом в скандируемое: «Шайбу! Шай-бу! Шай-бу!» Он кричал, чувствуя, как пересыхает горло, как наливается нетерпением и желанием тело, как перетекает и уж хлещет через край: «Шай-бу!!!» Он проснулся от собственного крика. Он кричал вместе с теми, чьи лица видел на экране. Лица с двигающимися ртами. Шайба влетела в ворота. И он тоже вместе с другими вспрыгнул: «УРА!!!»

– Лариса,– крикнул, – давай жрать!

Ибо он, молодой и здоровый, хотел всего и если возможно, то сразу: зрелищ, еды, женщину, Жизни...

ВЕНИАМИН ПАЛАГАШВИЛИ

* * *

Памяти Булата Шалвовича Окуджавы

Пока живёшь, себе созвучья ищешь ...
Стремится даже дерево весной,
своею зеленью поднявшись выше крыши,
соприкоснуться там с голубизной.

Своей тоской томящийся искатель
бежит от тишины, неся числитель свой
добра и зла, чтоб общий знаменатель
соединил его с другими под чертой.

Переживая собственную осень,
её плоды мы бережём затем,
чтоб поделиться горькими и очень
несладкие приобрести взамен.

Вкусив от этой горечи, помалу
ты замечаешь, как стихает дрожь,
что и соседу будто полегчало,
что он другой, но он с тобою схож.

И, доведённый до последней точки,
когда невмочь и превозмочь нельзя,
ты вспомнишь нам предпосланную строчку —
возьмёмся с вами за руки, друзья!

* * *

Есть большое искушение
заглянуть в окно к соседям
и с приятелем в беседе
поделиться впечатленьем.

Разве нам не интересно,
приоткрыв завесу тайны,
неизвестное в известном
обнаруживать случайно?

Нет запретных тем в познании
судеб, дел и биографий,
в рассуждениях о деяниях
персонажей с литографий.

Славен труженик культуры,
приносящий регулярно
в дар родной литературе
свой азарт эпистолярный.

Он заменит нам прочтенье
строк, исполненных тревоги,
слов, рождающих смятенье
в поисках пути-дороги.

Он приблизит к нам поэта,
оживит его обличье,
пыль смахнёт с его портрета
вместе с аурой величья.

Заглушая звуки лиры
обитателя Парнаса,
ждёт свержения кумира
человеческая масса.

Искушённый обличитель
углядит большое в малом, —
устоит ли небожитель
пред позором и скандалом ?

Нет не зря, стяхнув дремоту,
голосит петух натужно,
след куриного помёта
в груди зёрен обнаружив.

ТЕРПЕНЬЕ, ГОСПОДА!

Когда исполнилась мечта
о полном брюхе,
не угрожает нищета
и нет разрухи,
когда дают, не требуя платить,
и нет нужды вождей благодарить,

когда за каждое нечаянное слово
не ожидается полночного отлова,
не надо торопиться и хитрить, —
что будем делать? — Будем говорить!

Мы будем говорить!
Возможно ли молчать,
когда не укротить
желания звучать?!
Мы гоним время вспять,
мы оживляем тень,
в который раз встречать
идем вчерашний день.

А что там впереди?
Пустыня или сад?
И как вперед идти,
когда глядишь назад?
Во тьму не забрести б,
что выведет тогда —
пяти — или шестиконечная звезда?

Утешься, русский гость,
прибывший навсегда!
Утихнут страх и злость,
терпенье, господа!

Шагнувший через век
из шахты на-гора
не поднимает век —
слепят прожектора...

Почтения — не ждать!
Но сын придет когда,
возможно, шляпу снять
придется, господа!

СЛОВО

Вначале было Слово.
Свидетель Иоанн
благовещал толково,
да слушатель — профан.

К тому же откровенью
помехой — бытиё
надолго помутило
сознание его.

И в этом помутненьи
попробуй разгадай —
каким то слово было —
«поверь» или «познай»,

а может быть, — «надейся
и сбудется, терпи!»
А может быть, «добейся,
борись и победи!»

А может, слово было
как выстрел холостой,
и не было в нем истин,
иначе бы Толстой,

Сократ, Платон и Плиний
и сотни мудрецов
давно б им осветили
дороги праотцов.

И не было бы воплей
блуждающих впотьмах,
героев поневоле,
провидцев на крестах.

А может, слово было,
которым патриот,
чужой избличая,
ославил свой народ.

Видать, мужик с понятием,
старался неспроста —
вложил навек проклятье
в народные уста.

И в консонансе с эхом
проклятья всех времен.
Не все проходит! — в этом
ошибся Соломон.

И если б выбрать Слово
мне прашур завещал,
назвал ПРЕВОЗМОЖЕНЬЕ
началом всех начал.

Не утомляя Бога
мольбами «помоги!!!»,
приказываю строго
себе: «Превозмоги!»

ГЕННАДИЙ ГУРЕВИЧ

* * *

Заспешили вдруг часы. Заспешили.
Завиляли, застучали, заскулили.
Поломалось что-то в них — не исправишь.
Сколько стрелки не крути, не обманешь.

Надоело им ходить. Надоело.
Закружило, затащило, полетело...
За минутами часы — не догонишь.
Не забудешь, не отдашь, не уронишь.

Бесконечный поворот. Бесконечный.
Бесполезный. Бестолковый. Бессердечный.
Заспешили вдруг часы. Заспешили.
Потащили за собой, не спросили.

* * *

Давай не будем ссориться и спорить.
Пусть дремлют в ножнах острые мечи.
Давай достанем из карманов совесть
И будем души грешные лечить.
Давай забудем распри и обиды,
Простим друг другу ненависть и злость
И, как атланты и кариатиды,
Подставим плечи под Земную ось.

ВЫТЕКАЙ, МОЯ СЛЕЗА...

Вытекай, моя слеза.
Каждому своя стезя.
Чтоб не застило глаза
Вытекай, моя слеза.

Ты стекай, слеза, стекай.
Преломляй и ад, и рай,
Светом солнечным играй.
Ты стекай, слезай, стекай.

Ты лети к земле, слеза.
Уноси всю грязь с лица.
Кровью с терния венца,
Ты лети к земле, слеза.

Уходи, слеза, в песок,
Нарушай сухой зарок.
Каждый платит свой оброк...
Уходи, слеза, в песок.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ

Где «право», там «лево»,
Где выход, там вход —
Всё в Зазеркалье наоборот.
С восходом ложатся,
С закатом встают.
Своих обирают,
Чужим отдают.
Рождение в смерти.
В падении — взлёт.
Всё в Зазеркалье наоборот.
Враги выручают.
Друзья предают.
Там плачут в весельи,
А в горе поют.
Там честью и жизнью
Торгует народ.

Всё в Зазеркалье наоборот.
Зеркальные стены...
И кто разберёт,
Где мир зазеркальный
И где оборот?

РЕПРИЗЫ

Вдруг явилось «уже» там, где было «ещё»,
Как темнеет асфальт под неспешным дождём,
Как желтеет листва, тихо падает вниз
В такт осенних реприз... в такт осенних реприз.

Весь сухой желтизной укрывается мир.
Небо сыплет дождём. Прохудилось до дыр.
И грозитя зимой пустошь горних высот,
И снимает запрет дольных дум и забот.

Небо сеет весну перед снежной порой,
Как рождают моря в сонных недрах прибой.
В бездыханных ночах так родится рассвет
И спешит новый день свой оставить завет.

Вытекает «ещё» из сухого «уже»,
Как из высохших луж сон о новом дожде.
Как на зимних ветвях почек юный каприз
В такт весенних реприз... в такт весенних реприз.

* * *

Опускается ночь. Утверждается вечер.
Лишь в стекле фонарей продолжается день.
Но не сможет опять молчаливое вече
До утра превозмочь полуночную тень.

Будет битва страшна преступленьями многих,
И для жертв всё равно, кем ковался клинок.
Будут звёзды слепить фонари у дороги.
Снова месяц предаст в обозначенный срок.

Будут тени свои ослабевшие руки
К свету долго тянуть в ожидании дня
И мечтать о балах с темнотою в разлуке
Под мазурки и вальсы свечного огня.

Порождения тьмы не бывают без света,
Но с восходом толпой вслед за ночью бегут.
И толпятся потом в ожиданьи ответа,
И с полудня луну с нетерпением ждут.

СВЕТЛАНА ВИДЕРХОЛЬД

*Детям***ЗАМЕТКА МЕДВЕЖОНКА ВИЛЛИ**

ТРИНАДЦАТОЕ

Решил как-то я попутешествовать. Купил билет на самолёт из Берлина до Рима. Купил, а потом смотрю – отлет тринадцатого числа! Да еще и в пятницу! Ужас! Такое несчастливое сочетание! Даже решил билет поменять. А потом подумал: «А почему это пятница тринадцатого наводит на всех такой ужас?» Оказалось, что не на всех. А история пятницы тринадцатого такая.

В Европе страх перед тринадцатым числом появился давным-давно и связан он с... философами и астрономами! Они говорили так: «Наш мир – это гармония. У нас двенадцать месяцев, у нас двенадцать знаков зодиака. Но вот появляется число тринадцать и гармония разрушена!» Вот так число тринадцать объявили «нехорошим», «несчастливым».

У христиан считается, что в страшный день, в пятницу, казнили Иисуса Христа, отчего пятница стала «нехорошим» днем недели. А теперь представьте себе совпадение: тринадцатое и пятница. «Несчастливое» число и «страшный» день. Да! Теперь понятно, что такое сочетание наводит ужас! Практически во всех странах Европы даже сегодня многие имеют суеверный, то есть необоснованный, ужас перед пятницей тринадцатого. Но вот в России говорят, что понедельник – день тяжёлый. Поэтому понедельник тринадцатое – особенно неприятный день, а вовсе не пятница.

Но вернёмся к моему путешествию!

Прилетел я в Рим. И на всякий случай спросил проходящего итальянца: «Какое число считается у вас «несчастливым»?» К моему удивлению он сказал, что их два: тринадцать и семнадцать. Но откуда взялось семнадцать, мне никто не смог объяснить. Загадка. Но когда-нибудь я и её разгадаю.

Залетел я в Афины. У греков несчастливым оказался вторник тринадцатое. «Ха, – подумал я, – тринадцать, как и везде до этого! Но почему вторник?» Оказалось очень просто. Когда-то, тринадцатого во вторник, греческий город Константинополь был завоеван турками. И греческое тринадцать – не разрушение гармонии, а разрушение города. Вот такое совпадение! Или это и в правду – несчастливое число.

Пролетая над Кавказом, я узнал, что там нет «несчастливых чисел». «Счастливые люди!» – подумал я.

Но вот и казахстанские степи! Кричу вниз: «Есть ли у вас несчастливое число?» И ответили жители аула: «Девять!» Оно самое «несчастливое». Но и девятнадцатое, и двадцать девятое тоже считаются нехорошими для важных дел или для каких-то начинаний.

Я залетел в Китай. Здесь «плохое» число – это четыре. Из суеверия никто не хочет иметь телефонный номер с несчастливыми четвёрками, и он самый дешёвый. А вот, чтобы в Китае подключить номер со «счастливыми» восьмёрками, – нужно быть миллионером, потому что они самые дорогие!

В Японии я решил перед обратным полетом перекусить, но съел слишком много риса и попал в больницу. От страха перед лечением мой живот тут же перестал болеть, и я убежал, но всё-таки заметил, что в японской больнице нет палат с номерами девять и четыре. «Несчастливые!» – догадался я. Девять в Японии означает слёзы, болезнь. Четвёрка – большое несчастье.

Пока летел домой, я думал: «Хорошо было бы, если бы все учителя верили во все «несчастливые» числа и дни! Тогда бы у всех детей от Франции до Японии каждого четвертого, девятого, тринадцатого, семнадцатого, девятнадцатого, двадцать девятого, а также каждую пятницу, и каждый понедельник, и каждый вторник были бы каникулы!»

Вы тоже так думаете?

ВЕРА ФЁДОРОВА

Детям

ПОТЕХА

Как у нашей кошки
На пальто горошки,
А ещё у кошки
Чудные сапожки,
Шляпка, зонт, перчатки,
В общем, всё в порядке.
Подрумянит щёчки,
Вденет серьги в мочки,
Каблучок повыше...
Что? Хохочут мыши?
Лопнули от смеха?
Говорят — потеха!

ЗАЙЧОНОК

Ушки длинные — торчком,
Хвостик маленький — пучком,
Летом — серый, а к зиме
Шубка белая на мне.

Всех зверей боюсь в лесу,
Но особенно — лису.
От ушей трясусь до пят,
Ведь лисица ест зайчат.

ЛОПОУХИЙ

Рыжий, яркая рубашка
И короткие штаны —
Это мой приятель Сашка,
Уши издали видны.

Он — в шестом, а я — в четвёртом,
Мы с ним лучшие друзья,
Заниматься любим спортом,
Вместе ходим — он и я.

Дразнят Сашку — лопоушка
В доме, в школе, во дворе.
Улыбнётся он старушкам
И несётся к детворе.

Объяснить готов задачку,
Починить велосипед,
Взять бездомную собачку
И отдать ей свой обед.

Знают все: в команде нашей
Сашка — лучший футболист.
Он ещё в ансамбле пляшет
И хороший гитарист.

Не обидит Сашка мухи,
Хоть по самбо — чемпион.
Я хочу быть лопоухим,
Чтобы стать таким, как он!

ЩЕНОК

Умный я и аккуратный,
Не терплю собачьих блох,
И красив невероятно,
И характером неплох.

Я могу стеречь квартиру,
Лаю звонко, громче всех,

И люблю хозяйку Иру,
И её задорный смех.

Хоть и дразнит пустолайкой,
Но ведь это от любви.
Всё прощает мне хозяйка,
Даже лужицы мои.

НА ГОРКЕ

Зимой из дома вышел —
Коньки, салазки, лыжи,
Сосульки и снежинки,
И на ресницах — льдинки.

Бежим кататься с горки
На санках, на картонке,
На животе, на спинке —
Мы чистые, как свинки.

Пальто намокли, брюки,
Замёрзли ноги, руки.
Но это не помеха —
На горке столько смеха!

СТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧ

*Прозаические миниатюры***ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ**

Она громко, словно со сцены, будто перед огромной толпой, читала-скандировала эти древние стихи забытого племени, ритмически выделяя стопу стиха за стопой, в строгом соответствии с ритмом, в котором двигалась *Его* подбрюшьё...

Он же, обхватив *Её* гладкие каштаново-глянцевые бёдра, с неумывающейся силой вбивал в её плоть свою, делая это как всегда, по четвергам, неутомимо и добродушно-агрессивно... Как водопад, столь же методично и мягко, как при боксировании со спарринг-партнёром (*Она и была воистину его спарринг-партнёршей*), без злобы, но азартно, не сбавляя ни силы, ни темпа, *Он* вколачивал в *Неё* всю свою мощь и умение... В том же ритме, не менее интенсивно, колотились капли неутомимого дождя во тьме за окном, и, слушая их, *Она* продолжала чтение стихов, предчувствуя и приближая неизбежный и жадно ожидаемый конец битвы...

— *Это было, было, было... Это было в декабре...*

Ожидая финал, *Она* приумолкла, жадно распахнув губы, словно вырвавшаяся на речной песок из рыбацкой корзины, большая коричневая рыба... Рыбак вспарывал *Её* брюшину своим безжалостным лезвием, и рыба вертелась под убивающим орудием, всё время ожидая чуда избавления...

И избавление пришло... Лопнули окна и двери, и из них хлынул орошающий дождь финала... Всё стихло и прекратило движение своё... Очнувшись, *Она* повернулась к *Нему*, такому усталому и беззащитному... *Он* тихо спал в стороне от неё, не слыша её пробуждения...

Осторожно приподняв *Его* голову, *Она* быстрым и отточенным движением выдернула голову из тела, словно хрустальную пробку из флакона драгоценных духов. Голова тут же уменьшилась, превратившись, в самом деле, в подобие красивого фигурного завершения хрустального флакона... Одновременно и оставшееся тело *Его* уменьшилось, почти потеряв преж-

ние человеческие очертания и формы: словно новорожденный младенец лежал *Он* перед *Нею*...

С прежней осторожностью, подняв оба фрагмента, *Она* встала с любовного ложа и аккуратно перенесла всё в заранее приготовленную шкатулку из красноватой древесины.

На крышке шкатулки блестили инкрустированные буквы: «АЛАФИЯ – МИР ВХОДЯЩЕМУ»... Это и было *Его* имя... Рядом с ложем стояла большая, похожая на библиотечную, полка заставленная подобными же шкатулками. Различаясь цветом и, конечно, содержанием, они, однако, подобно большим клавишам старинного рояля, были абсолютно одного размера... Ласково прикасаясь к каждой шкатулке, *Она* быстро, как по клавиатуре, пробежалась пальцами обеих рук по своим друзьям. Чуть задержалась на одной с надписью: «*Доктор Гильотен*»...

– Давно я с ним не беседовала! – прошептала *Она*, тут же почувствовав остро бодрящее, щекочущее беспокойство вокруг шеи.

– Надо пригласить его на следующий четверг. Рассказчик и выдумщик он необыкновенный... А почему всё ещё продолжается дождь? Услышав нейронную команду, дождь немедля отключился...

За окном завершался последний четверг 2209-го года.

СУМЕРКИ

Серость проползла в Город, повинувшись главному Хронометру... Вначале потемнели подъезды... Они судорожно, невпопад стали зажигать жёлтые подсветки... Но эта суетливость не остановила, а лишь ускорила повсеместное появление Серости. А вслед за победой Серости стали чернеть растопыренные и взъерошенные, тонкогладкие и толстоузловатые ветви деревьев... Стволы держали дневной фасон дольше всех... Но юные кустики первыми сдались Серости, а особенно отчаянные и непослушные уже оделись в ночную Темень – назло своим высокорослым прародителям...

Но ещё раньше почернели квадраты окон... Отчаянные броски-мазки иссиня-чёрной краски стрижками полетели с палитры притаившейся на окраине Города мрачной ночной Темени... Но её Время ещё не наступило и не подвело Темноту ко всем подъездам всех домов... Небесное укрытие, что помнит и бережёт дневную Радость, постепенно и с тоской задёргивает дневной голубой полог мышинным покрывалом Сумерек... И только тогда из-под него стали высвечиваться льдистые искры звёзд... Пройдёт-промелькнёт каких-то два часа, и на Город безжалостно навалится Ночь – и никакой светильник не спасёт Город от её беззвучного смеха:

Темень и мрак побеждают всё и вся...

В РЕДАКЦИИ

– Входите, Уважаемый! Вы, надеюсь, Автор?

Чудесненько! У Вас проза? И стихи?! Изумительно! Прозу у нас ведёт Фёдор Михайлович... Столик у окна... По секрету предупрежу, он поначалу любит пошуметь на молодых авторов, но только по поводу названия произведения...

– А с поэзией будьте добры к Александру Сергеевичу...

Вот за этим бюро... Он у нас старых правил и любит беседовать в несколько торжественной обстановке... Чудак, но гениальный!

Вы и гонорар уже принесли? Замечательно! А то не все начинающие осведомлены о новых тенденциях в стихоиздательстве...

– Вы говорите – одна тысяча? Рублей? А что это, местная валюта? И она как–то соотносится с общемировой? Жаль-жаль, что Вы не знаете... Мы как-то давно с нею не встречались... Лет сто, наверное... Но всё же оставьте... Под расписку, разумеется...

– Анна Андреевна, голубушка! Не слышит... Вот там, за шкафом, отсюда и не видно, сидит дама... Подойдите к ней – не забудьте поздороваться, она строгая у нас, скажите – от Марины Ивановны Цветаевой. Это я, будем знакомы, – и к ней просьба – помочь Вам, дорогой Автор, выполнить все необходимые формальности...

БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ около ЧЁРНОЙ ДЫРЫ

(полуироническая фантазия на тему)

Проблема Большого Космоса волнует каждого мало-мальски грамотного интеллигента... Вы все, читающие сейчас эти сумбурные строки, не можете себе даже представить, насколько важна для нас, Всех всякая новая идея на этой тропе, усердно затоптанной великими гениями – физиками XX-го века! Это похлеще разрешения пресловутой «квадратуры круга», «кубатуры шара» или нахождения точного числа демонов, уместающихся на острие иглы... Что таить, да простят меня клирики всех конфессий – в разрешении этой проблемы скрывается ответ на роковой вопрос: есть ли Бог!?

Мог ли я остаться в стороне, видя, как десятки известных мне, а сотни и неизвестных мне, толпятся у заветной «зелёной» дверцы, открывающей дверь в тайну – тайну Мироздания и, в конечном счёте, для человечества – тайну нашего Будущего...

Пресловутый «коллайдер» – гигантская карусельная пушка, сталкивающая в глубочайшем вакууме невидимые нам «кирпичи мироздания»: элементарные частицы, очередной скальпель для «лоботомии» Большого Кос-

моса... Откроет ли он что-нибудь новенькое, или нет (скорее откроет!) до Большого Взрыва – это не дотянется!! Масштаб ещё не тот...

И вот я, грешный и суетливый, считаю (когда-то один обслуживающий мою технологию весьма слабый конструктор объявлял «Я мыслю!»... Слава Богу, не по Декарту: «Cogitus – ergo sum!»), так вот и я, грешный, «cogitus!» – что (затаите дыхание!):

ВНАЧАЛЕ НЕ БЫЛО БОЛЬШОГО ВЗРЫВА!

А было всё НАОБОРОТ!

НАЧАЛО НАЧАЛ

Вначале было... НИЧЕГО! Ни темноты, ни света, Пока ... СЛУЧАЙНОСТЬ из ВСЕГО не породила ... ЭТО! Потом уж стало ВСЁ ясней, и различаться стали И ТО и СЁ, а в тишине

И БЛИЗОСТИ, и ДАЛИ!.. И вот настали ... ВРЕМЕНА, и в разных было по разному! Но в каждом пело, как струна, Желание Соблазна! И ожиданье ПЕРЕМЕН, и к этому – СТРЕМЛЕНЬЕ!

И ... РАЗРЕШЕНЬЕ, как момент ВЗРЫВНОГО ПОВЕДЕНИЯ!

То-есть, ВНАЧАЛЕ была... ПУСТОТА!

Она вмещала в себя абсолютно ВСЕ-ВСЕ формы превращения ЭНЕРГИИ... И это ВСЁ находилось в состоянии «взаимного уравнивания»... ВСЕ разновидности воплощения ЭНЕРГИИ (а кроме ЭНЕРГИИ В КОСМИЧЕСКОМ МИРЕ НЕТ НИЧЕГО!) – «Частицы», «Поля», «Субчастицы», «Фотоны», «Струны», «Гравитоны» и многое иное, как известное Астрофизике, так пока ещё не открытое, в объёме этой пресловутой ПУСТОТЫ вступили в своеобразное «аннигиляционное» взаимодействие, потеряв при этом свою «самость», свою отличающую форму, свою Индивидуальность... В получившемся МЕСИВЕ нельзя было различить НИЧЕГО! Не было никаких реакций на внешнее воздействие, почти ни на какое...

Это не «Чёрная дыра», всё пожравшая вокруг себя и не потерявшая своего гравитационного аппетита... В этой части Пространства НЕТ НИЧЕГО .

Это ПУСТОТА, ничего не воспринимающая, ничто не отражающая... И поэтому абсолютно (или почти абсолютно) – НЕВИДИМАЯ... Как бы стеклянный шар, погружённый в прозрачную жидкость с тем же коэффициентом преломления, что и стекло... Попробуйте разглядеть его! А ведь шар – твёрдое тело, состоит из атомных и молекулярных структур, а его как бы и НЕТ! Это без сомнения – метафора, но скорее физическая, чем поэтическая...

Но ещё интереснее сравнить космическую пустотную вакуоль с жидким нитроглицерином... Вязкая, прозрачная, бесцветная жидкость... Этакий кисель... Это тоже сложное молекулярное образование, но оно, помимо своей

невыразительности, обладает высочайшей чуткостью на внешнее гравитационное или механическое воздействие... От лёгкого, но резкого касания замороженная нестабильность нитроглицерина нарушается, причём почти мгновенно, поэтому процесс принимает форму ВЗРЫВА!

Чем не физическая метафора Большого Взрыва!?

Как обнаружить «пустопорожние» места, вакуума Пустоты в Космосе? Пока что никак... Они могут быть ВЕЗДЕ, так же как и «НИГДЕ»! Надо отслеживать «спонтанные, немотивированные» взрывы в Большом Космосе.

А может эти пустотные пространства гораздо ближе...

В любой близости от нас! И только миг нас отделяет от очередного Большого Взрыва!

СЕМЁН ЛУРЬЕ**ОБОЧИНА**

Скатилось время на обочину,
Покрылся ржавчиной засов.
Сгустился сумрак. Озабоченный,
Я слышал мерный бой часов.

По-прежнему качался маятник,
И также мокли под дождём
Трава осенняя и памятник
С усатым каменным вождём.

Здесь, у обочины, за городом,
Забыв следы былых дорог,
Протоптанных тропинок смолоду,
Мелькали лица между строк.

С полузатёртым кодом-почерком
Рукой покойного отца.
Там вместо слова — многоточие,
Став завещаньем мертвеца.

Легло безвременьем меж лицами,
Как души мёртвых меж страниц.
Они, слетаясь, стали птицами,
Но с образом знакомых лиц.

Объединила всех обочина
На остальные времена.

Наш мир проела червоточина
До основания, до дна.

И только сыновья и дочери,
Свои покинув берега,
Чтобы остаться не замоченным, —
их заграница сберегла.

И БОЛЬ, И СЛЁЗЫ, И СТИХИ

Л.К.

Мой друг увлѣк стихосложением
К семидесяти годам меня...
Поймать за ворот вдохновенья,
Увы, смешно, и слишком поздно.
К тому ж война, и взрывы в Грозном.
Пылала беглая Чечня.

Я увлекался Мандельштамом.
Пытался сочинить романс.
Совпало всё с российской драмой:
Стихи. Подлодка. Катастрофа.
Блуждал в душе печали вальс.
И звуки закрепили строфы.

В поэзии ходьба по бровке.
С паденья первые шаги.
И смерть шаталась по Дубровке.
Плач женщин на телеэкране.
Трагедия детей в Беслане.
И боль. И слёзы. И стихи.

МГНОВЕНИЕ

Трагедия напоминала бред:
Нью-Йорк в дыму пожарища осеннего
И небоскрѣбов сморщенный скелет, —
Картина иллюзорного мгновения.

И маска материнского лица,
Как будто с восковой застывшей миной.
Рыданье безутешного отца,
Лишённого единственного сына.

Всевышнему молитесь не спеша,
Не дожидаясь смертного мгновения.
Пока живут сознание и душа
На циферблате тающего времени.

МИНОРНАЯ ТОККАТА

Притуплен дух. В застывшей позе
Душа лежит на дне пространства.
Шипя, змеёю проползает
Тоска, найдя удобней щель.
Нас наркотической дозой
Она то травит, то спасает
С весьма завидным постоянством —
Характером змеиных шельм.
Она ползёт по трубам с нефтью
И по сосудам, вместе с кровью,
Невосполнимую утратой...
В двадцатом веке в СССР,
Век двадцать первый с лихолетьем,
Депрессией и нелюбовью.
Зима. Декабрь. И звук токкаты, —
Ну, скажем, Баха, например.

МУЖСКАЯ ЛИРИКА

Мужская лирика! О чём?
Лишь о любви? О, нет, не только.
Она откроется ключом,
Но не для всех, — когда умолкнут.
И «Я» твоё, твоя персона.
Строка уйдёт без слёз, без стога.
Придёт другая, — о былом,

О будущем и настоящем,
Интимное отложим в ящик.
И старый хлам пойдёт на слом.
Достанем ключик с верхней полки
Фактуры женской и мужской,
Где жизнь сама, порой, без толку
Бьёт по душе весь день-деньской.
Иной раз в ночь она заглянет
Сквозь сон. А-то и наяву,
О справедливости помянет,
Которая пройдя Москву,
Остановилась в ожиданье
И притаилась до поры,
Чтоб под совсем другим названьем
К нам неожиданно вернуться.
Мы не успеем оглянуться,
Как вдруг покатаемся с горы...

Так в чём же лирика мужчин?
Лишь в справедливости? Не только,
А в том, что от привычных вин
Тебе вдруг станет очень горько,
И превратится жизнь в метель.
В груди пурга, глядишь, завьюжит,
И ветер дверь сорвёт с петель,
И кто-то близкий станет нужен,
И голова твоя в кустах.
Больна мужская честь: не новость.
Но если совесть нечиста,
Твоя печальней будет повесть.
А коль затянется тоска,
Тогда сломается строка,
И всё ж, в отличие от женской,
Тоску не назовёшь вселенской...
Мужская лира обо всём:
И о любви, и о природе,
О власти, судьбах, о народе.
Мы на плечах её несём!

В БЕРЛИНЕ ПАДАЛ СНЕГ

Весь мир кричал: «Вы тысячи убили!
Убийцы! Палестинский геноцид!»
Стрелял еврей — судили и стыдили.
Стрелял араб — куда девался стыд!

Европа мёрзла — не хватало газа,
И люди грелись в пламенных речах.
Защитники нацистов из «Хамаса»,
Забыли вы о газовых печах!

«Литой свинец», как эхом Холокоста
ворвался в новый, двадцать первый век.
Сожжённых пепел реял над погостом.
Стоял январь. В Берлине падал снег.

ВАЛЕРИЙ МАТЭТСКИЙ

ПРОЗРАЧНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Наступил дождь

Наступая рядами
Одинаковых струй
Одинаковых капель
Наступая на всех
Одинаково ровно
Одинаковой влагой
Одинокого неба

Одинбковость одинокости
Одинокость одинбковости

Как бесконечно много
Одинбковых капель

Почему ж мы так рады
Низвергающемуся ливню
Прозрачного одиночества

ОДА КЛАВИАТУРЕ

Ласкать
Клавиатуру партитэры
как свѣтки свистков
концов
слоновой кóсти

у си
сырых жемчужин
утиные носы
сносимые
в мыс маяка
и скбты карт
катящиеся сям и там
тамтбмами
мигрирующей цели кйлей
летающих
в шёлк шёпота копыт
пыль линий вен
венцами мира пира
парящий ряд
пятнистых оленъх
дыханьем ранней неги зги
изгиб реки
киотами амвона звона
Наледь
Медь
Мёд
Перстами перьев в лёт
Ловец
Веруна

МЯТНАЯ ВАТА

Или это зима виновата?

Внятно засыпала вмятины лет
Мятною ватой.

Мятною ватой во вмятины лет,
Или это зима виновата?

В место покоса отбвою в след
Струи пассбта.

Струи пассата отавою в след,
Или это зима виновата?

Искры фонтана, взорванный свет
Звёзды агата.

ГРУДЬ ЛУЖИ

Под локтем билась тишина...
Тень ветра гладила грудь лужи,
Мыски сосков не обнаружив,
Взыграла терпкостью вина

и над

надменностью Парижа,
Презрев окружности жука,
Бедро оттягивала лыжей
Ожога жгучего прыжка.

БАТОНЫ ТОМНЫХ НОТ

Л.Ф.

Ох
эти губы
батонами
томных нот
Утону
у таверны
наверно
как верный
Gott

И
тугою
богемойо
магмы
мига и сна
сньтью
сытою
стати

истает весна

И
от страсти
сласти масти
стихий и стихов
стихли
всхлипы лип
и опблы опблы
лап
и мехов

КЛИКУША

Л.Ф.

И сени дней осенних осени
сияньем синих сней

*

с ней пей пену у неба иен
несметным семенем уес

смеси семь смесей
семи схем се есть смех

хмелея елеем
лемехов волос

СОЛО ВЕЙ весны людей
дли для литья

ялик кия
лик кия

клик-уша
ушей шей

эй!
шшш

АНГЛИЙСКИЙ САД

Л.Ф.

В Английском брежу я Саду.
Под ноги плещутся дорожки.
Английски-чопорно, – подножки,
Деревья ставят на ходу.

Жокеи глаз сквозь зелень куш
Терзают памятные «холки».
Уключин ключные головки
Глодает висельная грусть.

Стыжусь, сжимаюсь, маюсь, мнюсь.
Ссыпаю письмами по восемь,
Считаю бабочками вёсен,
Сомлевшую ошую Русь.

КОЛЛЕКЦИЯ ОТРАЖЕНИЙ

Мир провисал под тяжестью моего дыханья.

Мой Конь закусил меридианы,
перебирая ноты исчезающего бега.

Гривы мгновений наслаивались на робость воды
в хорошо темпорированном клавире.

Два неподвижных голубя
толпились золотистым ослеплением столпа
над крышей долины,
как титулуванный норковый мех в капельках молний.

Кожа струилась знойной саванной,
в лимонно-апельсиновом свете любви.

Облака, слегка, пришепотывали глаза августейшего полудня.

Муно-но аваре –

очарование скрытой печалью вещей,
обольщало путь тумана déjà vu
и тонуло как пламя, распустившегося орхидеей, шмеля.

Белая чайка сонно парила в лагуне моей груди,
словно волос, который выбился из причёски стеклянного лампы.

ТАЯЛИ годы.
Снежинки ПАЛИЛИ губы.

Я видел все затмения, приклеившиеся к Земле,
сквозь чёрные дыры звериных зрачков
и маленькие Луны окликали меня,
усаами беспокойства рассветного часа.

NÓTTE DI AMÓRE.
Это сезон охоты оленей!

Луг холодный, как день коллекций отражений ветра...

И прозрачность каждой секунды — несказаннее звёзд.

СКОЛ СИНИХ ЛИНИЙ

(Ода балету)

Стоит
багровая Луна.
Стоит,
как торт
в черничном литре.

Чертил и я когда-то
НА
полу
балетной
залы —
титры.

Пуанты,
циркулем колёс,

вращали мир,
вращали оси
и соли щавеля,
как плёс
сливали в лес силками осен.

Носъм носком сосука кос,
искал скол синих
линий в иней
И
слалом слома бил мороз
ОЗНОБА БОНЗ О
бронзу ливней.

НОРА ГАЙДУКОВА

* * *

Кружится снег, как в Новый Год,
И тает в лужах равнодушных.
Все повторится и пройдет,
Застыв лишь в памяти послушной.

Не жаль прошедшего, Бог с ним,
Но жаль свои воспоминанья.
Вот здесь счастливые стоим,
Согреты чувством узнаванья.

Платформа, поезд, автобан,
И ожиданье, и волненье.
Все было правда и обман.
Не длится чудное мгновенье.

Пусты попытки повторить
Миг счастья, даже и случайный.
Лишь память может сохранить
Шкатулку с невозвратной тайной.

КАБАРИСТКА

*Веселье в доме глупых
«Экклезиаст»*

Кабаристка, ну что ты кривляешься!
Что ты бьешь неповинный рояль?
Ты лукавишь, должно это нравиться,
Но в глазах твоих скрыта печаль.

Ты кричишь, тешишь общество странное,
Знаешь тексты свои наизусть...
Надоело веселье обманное,
Ты сыграй, кабаристочка, грусть...

В АМСТЕРДАМЕ

В Амстердаме, в отеле «Армада»,
Не меняли старые рамы.
По утрам в доме напротив видно,
Как женщина одевает бюстгальтер,
Пьет кофе и спешит на работу.

Кто-то входит в кабинку
Мужского писсуара.
Снаружи остается
Большой клетчатый зонт.
В серой воде канала
Отражается красный трамвай
И уходит за горизонт.

Приятно выйти на улицу.
К полудню откроются
Все четыреста двадцать музеев.
Через горбатые мостики
Пронесутся сотни велосипедистов,
А когда мост разводят на пять минут,
Они образуют нетерпеливый хвост.

Кругом уютно и чисто,
С легким налетом запустения.
Сохраняют подлинный вид —
Семнадцатый век — время цветения.

Можно зайти в музей Тюльпанов,
Напротив музея девочки Анны.
Она, конечно, не знала,
Что будет так знаменита
И до сих пор не забыта.

Туристов толпа
Ожидает у входа
В любую погоду.
Но лучше бы стала бабушкой
И была жива...

Чтобы не думать об этом,
Зайдем в «коффее-шоп».
Легкий запах марихуаны.
Амстердам ни от чего
Не впадает в шок.
Дарит иллюзию
Внутреннего покоя.
Здесь даже не видно полиции,
Легкие улыбки на лицах.
Черная водительница трамвая
Говорит в микрофон по-английски:
«У нас все хорошо!»

ВРЕМЯ

Я устала гоняться
За убегающим временем.
Я стоптала подошвы
О камни раздолбанных улиц.

Я брела и бежала,
Но время бежало быстрее.
Вот когда-то успела,
Но снова о время споткнулась.

Я нашла по дороге
Усталую стайку людей.
И просила пустить меня
В маленький домик погреться.

Но в тумане исчезли
Неверные тени друзей.
И касается время рукой
Утомленного сердца.

ПИТЕР- 2009

Я — маленькая. Я вишу на волоске.
И жизнь моя, похожа на загадку,
Качается, дрожит в моем зрачке,
Словами падая в затертую тетрадку.

Свисают надо мною провода.
Внизу безумно пялятся машины.
Грозит зазеленелая вода,
Шуршат неостывающие шины.

Здесь — пачки непоплаченных долгов,
Там отчего-то сыплются проклятья.
Безумья хаос, тяжести оков.
И в этом страшном мире —
Поиск счастья...

ЕВГЕНИЯ САФЬЯН

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Солнечный день, горячее, июльское солнце, хорошее настроение подгоняют меня, и я быстрым шагом иду по Крещатику. Но вот улица кончается, здания как бы расступаются. Где старый почтамт, который я ищу? Моё внимание привлекло приземистое кубическое здание, увешенное какими-то вывесками. Я напрягаю память: оно или не оно? Надо уточнить. Устремляюсь к прохожему с вопросом: «Скажите, пожалуйста, то серое здание не могло быть раньше почтамтом?» Он объясняет, где находится почтамт и как к нему подъехать. Я уточняю, что мне нужен старый почтамт, но он говорит, что в Киеве один главный почтамт, и другого – нет. Мои вопросы, к другим прохожим, вызывают удивление и недоумение. Я помню, что почтамт был здесь, но даже пожилые люди не знают, где находился старый почтамт, где улица Короленко, – школа, где размещался госпиталь. Население Киева изменилось, многие приехали после войны и не знают довоенный Киев. Ведь здесь стояло серое здание, за которым не было ни одного целого дома, одни развалины. Лишь один старик оказался довоенным жителем Киева. Он показал, где находится сохранившееся здание почтамта, и в него можно зайти, так как сейчас там находится столовая, что улице Короленко вернули её старое название – Владимирская.

Я открыла дверь, сердце учащенно забилось. Тот же длинный коридор, с деревянными панелями. Воспоминания нахлынули на меня. Вот мама дрожащими руками вскрывает конверт заказного письма с вызовом в Ленинград. Она плачет и смеется одновременно. «Мы вернёмся домой, мы вернёмся домой... – повторяет она. – Неужели цыганка была права и её предсказание сбудется?». Я тосковала по Ленинграду, а Исаакиевский собор мне даже снился. История с цыганкой долгие годы была утешением и надеждой. Эта цыганка в Петергофе именно 22 июня 1941 года предсказала маме невзгоды, болезни, но все же – возвращение домой. Мама вспомнила

предсказание цыганки. Долгие и трудные дороги войны, тяжёлая болезнь позвоночника и ... вызов в Ленинград.

Начиная с зимы 1941 года, госпиталь, где работала мама, мотало по стране: Ярославская область, Уфа, Казань, Кизел. Я не знаю, что случилось с госпиталем шахтерского Кизела, но его, так и не развернувшего свою работу, куда-то отправили. Я заболела ангиной, и маму оставили в Кизеле, определив на работу в госпиталь, прибывший из Киева и разместившийся в зданиях городской поликлиники и больницы. Рядом – школа.

Многие часы после уроков я проводила в мамином кабинете и хорошо помню её сотрудников, особенно начмеда. Высокий, худощавый, с военной выправкой, в форме под белоснежным халатом, с острой калининской бородкой и сердитыми большими глазами под очками. Фамилия его была Френкель. Вскоре меня приспособили к полезной деятельности – скатывала многочисленные бинты для стерилизации, помогала кормить раненных. Я стала приводить в госпиталь своих одноклассников, мы читали раненым письма, писали под диктовку, приносили им книги. Образовалась тимуровская команда, и мы стали устраивать концерты.

В нашем третьем «В» классе много было ребят из Киева. В Кизел из Киева был отправлен станкостроительный завод, который во время войны стал танкостроительным. Говорили, что муж нашей учительницы остался в Киеве подпольщиком и должен был взорвать завод. В конце 1943 стали поговаривать о возвращении госпиталя в Киев. Всё произошло быстро. Госпиталь свернули, погрузили оборудование и персонал в товарные вагоны. Началась долгая дорога домой. Наш «женский» вагон был обычной теплушкой. В центре его стояла печка «буржуйка», вдоль торцовых стен почти вплотную друг к другу госпитальные кровати, над ними нары с госпитальными матрасами. На втором ярусе спали дети и девушки. Мужчины – в другой теплушке. Я спала у окна, которое иногда открывали для проветривания, но чаще оно было закрыто, и в вагоне всегда стоял полумрак. Рядом спала девочка Наташа, её мама, заведующая аптекой, отец – политрук госпиталя ехал в «мужском» вагоне. Наташа была худенькой бледной девочкой двухтрёх лет, с ней можно было играть, но она не говорила ни одного слова.

После многих дней скитаний, во время которых эшелон больше стоял, чем ехал, пропуская военные составы на запад, мы остановились на станции Михайловская. Это был переломный момент в жизни вагона. В дороге нам выдавали сухой паёк. В Михайловской, которая была на границе России и Украины, нас ожидало чудо. Картофель раньше мы покупали поштучно, здесь продавался ведрами, по доступной цене. Печка «буржуйка» в нашем вагоне не успевала остывать даже ночью. На ней кипели кастрюльки, чунки, котелки с картошкой. В пайки медперсонала входила американская

свинья тушёнка. Картофель с тушёнкой все ели с утра до вечера. Мне кажется, что и сейчас я чувствую вкус этого божественного блюда. Маленькая Наташа наконец-то заговорила. Она сказала своё первое слово: «Кайтошечка», повторяя его всё время. Её звонкий голосок звучал на все лады, с разными интонациями по разным поводам: «Кайтошечка, кайтошечка...».

По территории Украины наш состав двигался ещё медленнее. Бесконечной вереницей его обгоняли воинские эшелоны, а нас держали по несколько часов, а иногда и дней, на запасных путях. Порой на остановках к нам приходил политрук и сообщал, что стоять будем долго, и разрешал пойти «прогуляться», но никуда не отходить от вагона, путей и насыпи, при острой нужде можно «устраиваться» под вагоном. Я не знаю почему, но однажды меня «унесло» от насыпи. Стоянка должна была быть долгой, рядом с леском, а в нём вербы с пушистыми почками. Мы уехали из Кизела, когда там была зима, а здесь уже начиналась весна. Мне захотелось наломать веток. Вдруг я увидела перед собой человека, лежащего на мокрой болотистой земле. Каска закрывала лицо, на нем была гимнастёрка, широкий ремень, пряжка со звездой. Я закричала. На крик прибежали взрослые. Меня ругали и тащили к «женскому» вагону, а я плакала, умоляла похоронить бойца. Политрук стал мне объяснять, что боец подорвался на mine, что там ещё полно мин, и нельзя рисковать людьми, что есть специальная команда, которая занимается захоронением.

Состав приближался к Киеву. Нетерпение и волнение чувствовались всё сильнее. Даже дети стали тише вести себя, а взрослые переговаривались вполголоса. Всё чаще упоминалось звучное название «станция Дарница». Однажды пришёл политрук и сказал, что следующая стоянка будет уже в Дарнице. Двери вагона открыты, было тепло. Все скопились у дверей или прильнули к окнам. Объявили: «Подъезжаем к Дарнице!». Резкий толчок, состав затормозил и остановился.

К теплушкам подошёл политрук, он был взволнован. Не поднимаясь в вагон, суровым голосом приказал немедленно задрать окна и двери, и никому не выходить до особого распоряжения. Ещё долго все сидели в темноте, не понимая, что могло произойти, и чем вызван этот приказ. В вагоне, в полном неведении мы просидели целый день. Солнце уже садилось, когда наконец-то разрешили открыть двери и выйти из вагона. Вокруг был сосновый лес, множество железнодорожных путей, всё кругом посыпано жёлтым песком, через который просматривались красные пятна. Потом нам объяснили, что эта была запёкшаяся кровь. Скоро мы узнали, почему так долго должны были сидеть в закрытой, «замурованной» теплушке. Накануне ночью был налёт на Дарницу. Фашистский самолёт разбомбил состав с курсантами, которые направлялись на фронт. Наш эшелон приняли, но с условием не выходить, пока территорию не приведут в порядок.

Красноармейцы и рабочие-железнодорожники продолжали ремонтировать пути. Наш состав был единственным. Оказавшись на свободе, мы отправились в сторону леса. Высокие сосны поднимались справа и слева от путей. Моё внимание привлекли деревянные столбики с дощечками. На них надписи. Это были совсем свежие захоронения. На одних указывались фамилии и имена, на других скорбные строки, добрые слова памяти и верности дружбе, клятвы, с обещаниями отомстить врагам. Меня поразило, что почти все надписи сделаны чернильным, фиолетовым карандашом. На срезах сырого дерева они уже расплзлись, и некоторые надписи плохо читались. А если пройдёт дождь, всё сотрётся, исчезнет, тогда никто не узнает, чьи это могилы. Мама меня утешала: «Детка, это временное захоронение. Потом будут памятники. Кончится война, наступит мир, здесь увековечат память погибших». Меня это мало утешало. Беспокоило, что исчезнут имена и фамилии.

Кажется, это был последний налёт на Киев и последняя бомбёжка в моей жизни.

Рано утром наш состав по понтонному мосту был переправлен через Днепр. Из своего окошечка я видела широкую реку и воду, которая плескалась совсем близко. Казалось, что эшелон медленно идёт прямо по воде.

Киев встретил нас пасмурной погодой. Вокзала не было. Всё оборудование госпиталя, вещи людей разгружали на платформу. Здесь мы и заночевали. Уже к вечеру, оставив часть персонала, мы пошли в город. Вот тогда и произошла моя встреча со старым зданием Киевского почтамта.

Госпиталь разместили в школьном здании, на улице Короленко.

Решив найти это здание продираюсь сквозь кусты и оказываюсь на площади, рядом с памятником Владимиру-Крестителю. Дальше дорогу мне подсказывала память. Вышла к зданию школы и бросилась к двери. Она оказалась запертой: лето, каникулы. Пройдя вдоль фасада, я заглянула во двор. Воспоминания военных лет нахлынули на меня.

Пустой школьный двор словно ожил. Вот глухая стена, так называемый брандмауэр, на которую развешивали сшитые простыни, используемые вместо экрана. Во дворе расставляли скамейки и стулья, выводили и усаживали раненных, и показывали им по вечерам кино. Сколько вечеров я провела в этом дворе, по несколько раз смотря «Два бойца», «Актрису» и другие фильмы. Вдруг меня окликнул мужчина, вышедший из школы. Он оказался директором и пригласил войти с ним в здание. Всё та же лестничная площадка, одна дверь на улицу, другая во двор. Длинный коридор первого этажа. Директор просит меня рассказать о том, что я помню. От двери налево были кабинеты, перевязочная, куда приходила помогать. Справа комната, в которой мы жили. Я её хорошо помню. Большая комната, в которой сто-

яло много кроватей. Моя кровать – посередине, вплотную к ней кровать пожилой женщины, матери начмеда, с другой стороны вплотную кровать моей мамы. Директор провел меня по коридору и предложил зайти и посидеть в учительской. Он сказал, что в школу приходили люди, которые были на излечении в госпитале. Мы вошли в учительскую. Это была та комната, «женская, жилая комната». В комнате, где мы жили, была вторая дверь, ведущая в маленькую комнату. Двери не было. Директор обрадовался моему замечанию, сказав, что действительно была стеклянная дверь, которую по его распоряжению заделали. Мы вышли в коридор и зашли в маленькую комнату, которая на семь дней стала местом моего «заточения», когда я болела корью. Мы сели около окна, и я рассказала директору всё, что помнила.

Здесь, как и в Кизеле, я помогала в перевязочной, часами скатывала бинты, помогала нянечкам и сёстрам. Я подружилась с девочкой по имени Мила. Она была киевлянкой четырнадцати лет, на пару лет старше меня. Она показывала мне Киев, мы ходили на Владимирскую горку, бродили около Андреевской церкви. Монахини пускали нас туда и даже подкармливали. Эта церковь напоминала мне Никольский собор в Ленинграде, в садике, возле него я часто гуляла в далёком довоенном детстве.

Однажды, бродя по парку, я наткнулась на клумбу с красивыми жёлтыми цветами. И даже хотела сорвать несколько, но меня остановил прохожий, объяснив, что это могила генерала, который освобождал Киев.

В свободные дни мама водила меня на Подол, на рынок с избытком всякой еды. В Киеве были частные столовые, а на рынке продавались всякие «вкуснятины», которые я никогда не ела. Я первый раз в жизни попробовала ряженку, топленое молоко с коричневой пенкой. В Кизеле, даже во время моей болезни, мама покупала блюдце замороженного молока. Когда стала поспевать черешня, мы небольшой ватагой пробирались на рынок и «пробовали» спелые сладкие ягоды. Торговки добродушно смотрели на наше озорство.

Как-то мы пошли купаться на Днепр, на остров Труханов пешком. Однажды отправились далеко за город небольшой группой. Остановились у обрыва. Ничем не примечательное место, высокая трава. Вдруг у одной женщины началась истерика. Она кричала, что здесь вся её семья, все родные, она осталась одна на белом свете. У мамы всегда с собой был нашатырный спирт и раствор валерианы. Она стала утешать рыдавшую. У всех на глазах были слёзы. Так впервые в мою жизнь вошло страшное сочетание слов: «Бабий Яр».

Как-то во второй половине дня мы пошли на улицу Ленина, узнать о судьбе маминного двоюродного брата, Бориса Харитоновича Вулиха, известного в Киеве врача. Мы нашли дом, квартиру. Дверь нам открыла женщина, она стала на нас кричать, проклинать, буквально вытолкала за дверь.

На шум вышли другие люди и тут же стали захлопывать двери в свои квартиры. Только одна женщина, выйдя с нами на улицу, шепотом рассказала, что доктор пошёл «со всеми туда».

Запомнился день, когда я с Милой решила на большое путешествие. Мы бродили у бывших правительственных зданий, возле некоторых стояли надписи «мин нет», но войти вовнутрь мы боялись. Помню памятник Богдану Хмельницкому, какой-то дворец. Стало темно. Освещения на улицах не было. Куда идти не знали. Мы бегали в тёмноте: не было нашего ориентира – Андреевской церкви и знакомых домов. Улицы были пустынные, ни единого человека, чтобы спросить дорогу на улицу Короленко. Я не знаю, сколько времени мы ходили по пустому тёмному городу, пока не натолкнулись на группу людей. Это были наши «госпитальные» люди. Они, нарушая правила режима госпиталя, в панике искали нас. Выходить на улицу нам запретили, тогда и начались мои посещения киносеансов.

Наконец, мама получила вызов из Ленинграда, но я неожиданно заболела корью. С трудом маме удалось договориться, чтобы меня не отправляли в больницу, ведь инфекционное заболевание требовало строгой изоляции. Тогда меня и поместили в маленькую комнату за стеклянной дверью с окном на улицу. За дверью была вся «женская комната», мама, Мила. Мои товарищи подходили к двери, строили мне «рожи», что-то кричали. В полной изоляции я провалялась неделю. Мама переживала, так как срок действия вызова в Ленинград был ограничен. Я поправилась, и мы сразу же уехали. Мы возвращались домой. Но это уже другая история.

МИХАИЛ ТАНОВ**О ЯНУШЕ КОРЧАКЕ**

Друг мой, тому рассказывай,
кто благородство корчит,
как шёл к душилке газовой
с детьми на гибель Корчак.

Лишь за одно простое «Да»
дарили жизнь ему тогда,
и даже за один кивок...
Я плачу... Вот, в чьём сердце Бог!

О СУЕВЕРНЫХ

Лет тридцать в стол пишу стихи...
Ещё в одном хочу признаться —
я верил в бред из чепухи,
что зло несёт число «тринадцать».

Жаль, лоху и не догадаться,
что быть невеждой — это зло.
Ни в гороскоп и ни в «тринадцать»
не верить — ни причём число!

Придумано до нашей эры:
тот — «Рак», а тот — иная тварь.
В науку верю — не в химеры.
Для дикарей тот календарь!

Других, совсем убогих, жалко,
кто денежки несёт гадалке.
Тот духом и умом убогий,
кто слепо верит Павлу Глобе...

Учись, трудись — благословен
удачей будешь ты, мой друг.
Оставь иллюзий диких плен
и расширяй познаний круг!

АСЯ ПРОЦКО-ВАЙСБЕРГ

ЛЁНЬКА-ОДЕССИТ

*Памяти Льва Борисовича Голера — Ветерана
Великой отечественной войны*

Я знала, что Л.Б. жил в общежитии с семьёй дочери, приехавшей из Кишинёва.

Несколько раз слышала его рассказы в кругу друзей. Однажды спросила его:

– Вы приехали из Кишинёва, откуда же у вас такой одесский колорит?

– А вы что, бывали в Одессе?

– Бывала, и не раз.

– А я и есть одессит. М не даже в одном документе в графе «национальность», – записали: «Одессит»!

Вот что он рассказал.

Семнадцатилетним парнем Лёнька был тяжело ранен в своём первом бою под Ростовом. Перебиты сухожилия ноги, вырваны мышцы голени, бедра. На лечение попал в госпиталь в Сочи. Рана долго не заживала, даже прозвучало слово «ампутация». Но Лёнька не сдавался. Он орал благим матом, из которого можно было понять только:

– Резать не дам!

Как знать, врачевали хорошо, или жажда жизни помогла, но рана поддалась лечению. Лёнька стал оживать, посещать библиотеку. Положил глаз на сестричку – Шурочку. Смешил байками. Как-то зашёл в палату замполит госпиталя с писарем. Принесли газеты, писарь стал заполнять анкету. Анкета, как анкета. На каком фронте был ранен. Фамилия, имя, отчество. Где и когда родился, и, конечно, национальность. И тут Лёнька, в своей манере, не дрогнувшим голосом, без подвоха, сказал:

– Одессит.

Писарь так и записал. Всё было бы ничего, но сосед по койке хмыкнул и

кто-то хохотнул. Замполит почувствовал подвох, заглянул в анкету и спросил:

– А разве бывает такая национальность?

Писарь, молодой парень из выздоравливающих, пожал плечами.

– Он так сказал, я и записал.

– Замполит к Лёньке

– Ты где взял такую нацию?

Тут Лёнька и сам заволновался, но отступить было некуда.

– А меня так записали...

– Кто тебя записал?

– Спросите библиотекаршу!

Это было правдой. Лёнька пошутил. Когда её спросили, что за национальность такая, она серьёзно ответила:

– Ну, Одесса это здесь, на Чёрном море. Мы с мамкой до войны туда ездили на теплоходе. Понятно. Там все одесситы!

После этого Лёньку в палате стали называть только «Лёнька-одессит».

Лёнька стал набирать силы. Боль отступила, но тут приключилась новая беда – ангина. Да не простая, а двусторонняя, фолликулярная. Полоскание шалфеем, календулой – как мёртвому припарки. От укулов живого места на мягких частях тела не осталось, температура под 39. Ни охнуть, ни вздохнуть. Тогда прописали уколы прямо в гланды. Санитары покатали Лёньку в процедурную, усадили в кресло.

Дежурила как раз сестра Шурочка. Велела ему сидеть смиренно: одной рукой держаться за подлокотник кресла, другой – держать под подбородком лоток, запрокинуть голову, широко открыть рот.

Она набрала в шприц лекарство и стала обкалывать гланды. Обработала левую сторону, затем правую. Лёнька закатил глаза и считал уколы: раз, два, три... И вдруг слышит, Шурочка причитает: «Боже ж мой, Боже ж мой» – ищет что-то в глотке. Лёнька открыл глаза. Шурочка кричит ему:

– Иголка застряла! Сиди смиренно. Я сбегая за старшей сестрой.

Лёнька посидел минуту, потом засунул свои длинные пальцы в глотку, поймал ускользящую иголку, выдернул её и только подумал: «попугаю Шурочку», как услышал – бегут врач-отоларинголог, Шурочка, старшая сестра и все прямо к нему. Лёнька зажал в кулаке иголку и не дышит – не ожидал такое. Врач с зеркалом на лбу, светит в горло, щупает:

– Где иголка. Тут колет?

Лёнька машет головой.

– Нет.

– Где иголка? – щупает дальше врач.

– Колет?

– Нет.

Уже трахею трогает.

– Колет?

– Нет, нет...

Врач кричит старшей сестре:

– Беги в рентген! Пусть готовят аппарат – будем просвечивать!

Тут Лёнька совсем испугался: «Будут резать? Этого ещё не хватало». И дождавшись, когда врач в очередной раз спросил:

– Где иголка?

Лёнька разжал кулак:

– Вот она!

На миг воцарилась полная тишина. Она показалась Лёньке вечностью. Когда он открыл глаза, всё стало на свои места. Он увидел и услышал, как кричат врачи сразу на всех. Лексикон непереводаемый:

– Шутки шутишь!..

Старшая сестра подносит Лёньке нашатырный спирт.

– Кому суёшь? Шурку спасай!

Шурочка в полубомороке сидела на полу. Старшая сестра носилась с «нашатыркой». Сама нюхала, врачу поднесла и, наконец, добралась до Шурочки. Врач встал, и продвигаясь к выходу, всё ещё издавал отрывисто:

– Шутник! У, одессит попался! Клистир ему с нашатыркой!.. Чтоб знал, как шутить с медициной!

Назавтра, при врачебном обходе главврач смотрел температурный лист, назначения. Ангина отступила.

Лёнька сидел на койке и изображал несчастный вид. Врач посмотрел на длинную худую шею солдата с растрёпанным компрессом и улыбнулся:

– Это тот самый, одессит с иголкой?

Все, кто был в палате, зашлись весёлым смехом.

С тех пор не только в отделении, но и во всём госпитальном корпусе знали и называли парня

«Лёнька-одессит».

ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВ

* * *

Спасибо тебе, Берлин,
Мой лучик надежды синий
За Кройцберга ночи длинные,
Ночи унтерденлиндные,
Всполохи ноябрьских рябин.

Спасибо тебе, мой город,
За щедрость твоих музеев,
За чайки над Хайлигензее,
За то, что нашёл здесь горы,
Которых не видят взоры.

Спасибо тебе, мой город,
За гёрли с вокзала «Гёрлицер»,
Прошедшую так, что в горле,
Будто пронзённом, — ком,
Будто бы в небе — гром.

Спасибо тебе, Германия,
Утро моё ты раннее,
Пусть на исходе дня,
За то, что душе подраненной
Второе дала дыхание,
Что приютила меня.

ЗОЛОТАЯ БУХАРА

Прекрасна золотая Бухара,
Чьи стены, словно корни сквозь столетья,
И в хавзов глубину свисают ивы плети,
И неподвижна звонкая жара.

Прекрасна золотая Бухара,
Где аисты легки и длинношеи,
Где женщинам не надо украшений —
Таят их взгляды сотни Эльдорад.

Прекрасна золотая Бухара,
Где Арк — как знак судьбы, как две абхайи.
Мильон поёт о невозможном рае...
Тебя я видел — выше нет наград!

Прекрасна золотая Бухара,
Где навсегда в одной молитве слиты
Мильоны судеб умерших, убитых
И днесь живущих — в честь тебя хорал.

ТАТЬЯНА УСТИНСКАЯ

* * *

Судьбу конём не объехать
(Поговорка)

Я ещё существую,
но, увы, не до смеха.
И судьбу непростую
Всё пытаюсь «объехать».

Нахожу оправданье
Неразумным поступкам,
Но живу в ожиданье,
Что расплата наступит.

Столько было страданий
И напрасных дорог.
И пустых обещаний,
Не исполненных в срок!

Но напрасны старанья —
Конь плетётся уныло.
Исчезают желанья,
И кончаются силы.

Несмотря на терзанья,
Всё же хочется мне,
Вопреки предсказаниям
Быть ещё «на коне»!

ЗОЛОТАЯ ПОРА

Бушуют краски октября
Пронзительно и ярко.
Листок кленовый теребя,
Брожу в аллеях парка.

Сверкает небо надо мной
Берлинскую лазурью.
Букет осенний, золотой
К себе домой несу я.

Осколок солнца, янтаря
И с мёда терпким вкусом:
Так осень балует меня,
С моею спорит грустью.

Кокетка рыжая...трясёт
Кудрявой головою.
И «бабье лето» каждый год —
С её последним боем!

НОВОГОДНЕЕ ШАМПАНСКОЕ

Мы им бокалы наполняем.
Оно искрится на губах.
Шампанское — напиток рая,
Душа летает в облаках.

И остановится мгновенье.
Удар последний прогремит.
Настало время умиленья —
Две даты встретились на миг.

Трясутся руки от волненья.
От радости блестят глаза.
И губы тонут в сладкой пене,
И «отпускают» тормоза.

публицистика,

эссеистика

ДО И ПОСЛЕ



ДАВИД ЯНОВСКИЙ

С немецкого

Рут Андреас-Фридрих

ИЗ ДНЕВНИКА

(Продолжение. Начало см. альманах «До и после» №12)

Берлин, воскресенье, 13 ноября 1938 года.

Гестапо успокоилось. Волна арестов, вроде, закончилась. Зато правительство издаёт одно постановление за другим. Удаление евреев из немецкой хозяйственной жизни. С 1 января 1939 г

никаких еврейских предприятий, магазинов, руководителей производства. Евреи, немецкие граждане, должны выплатить государству контрибуцию – один миллиард рейхсмарок. Все повреждения 8,9 и 10 ноября 1938 г., явившиеся следствием «возмущения народа травлей национал-социалистической Германии мировым еврейством», должны быть устранены еврейскими хозяевами предприятий и жилищ. Расходы по восстановлению несёт еврейский владелец предприятия и жилища. Страховые притязания евреев – немецких граждан будут изъяты в пользу государства.

О большинстве арестованных мы ничего не знаем. Вернулся только маленький Шварц, альтист камерного оркестра. Уже через день. «Четырнадцать часов они держали нас взаперти. Сто пятьдесят человек в одном помещении. Наконец нас вывели во двор и построили. По пятьдесят в ряд. Никто не знал, расстреляют нас или отпустят. Мы стояли и ждали. Пятки вместе, руки по швам. Наконец появился некто в форме, не то шарфюрер, не то группенфюрер. Прококал вдоль шеренги и прорычал: «Офицеры мировой войны, шаг вперёд!» Тринадцать человек вышли. Опять строй в шеренгу, опять пятки вместе, руки по швам. Опять: какая часть, ранения, отличия. Девять из нас имели Железный крест первой степени. Человек в форме стал перед нами, скрестил руки и прокричал: «Семеро первых выйти и прочь отсюда, остальные – обратно в строй. Я был седьмым. Мы не могли

смотреть друг на друга. Не могли оглянуться.. Ушли, опустив понуро головы, как предатели. Семеро из ста пятидесяти». Маленький Шварц почти плакал. «Я не могу этого забыть. Я должен был остаться». «Этим Вы не помогли бы другим», – утешали мы его. Но он качал головой. «Дело не в этом. Дело в долге перед собой». «А также в долге перед своей женой и ребёнком», – добавил Андрик, – «Они, в конце концов, тоже имеют право на вашу жизнь». Шварц недавно женился. Девять недель назад у него родилась дочь. Их документы на выезд совсем готовы. Только решиться на отъезд до сих пор не могли. Есть люди, которые могут избавиться от излишней любви к родине только окольным путём, через гестапо.

Берлин, четверг, 24 ноября 1938г.

Маленький Шварц решил уехать немедленно, сегодня вечером. Идут слухи о новых арестах. «Ещё раз я это не выдержу, я умру от паралича сердца», – говорит он всем, кто готов его слушать. В восемь утра меня будит телеграмма «Приезжайте немедленно. Шварц». Я кинулась к нему. «Сегодня в 22-40 поезд от Цоо», говорит он. Он смотрит на меня так, будто у него за плечами стоит палач. «Вы должны оказать мне большую услугу. У моей жены есть участок земли. 2100 М2 в Зарове возле озера Шармютцель. Честно говоря, там нет ничего, кроме деревьев. Даже забора. Я хочу доверить его вам». «Но что скажет мой финансовый отдел», пытаюсь я возразить. «Не волнуйтесь. Мы оформим это как безвозмездную передачу. Они понимают. Это сделка, одобряемая государством». Я вспомнила, что за последние три месяца многие мои арийские знакомые стали ложными капиталистами. «Пока всё не проглотило гестапо», говорили их еврейские друзья.

«Хорошо, перепишем», согласилась я. Шварц подошёл к телефону. «Срочно такси. Буггештрассе 10». В 10-40 всё оформлено. В 12 мы уже у Шварца. Новое такси, мы мечемся по городу и покупаем, покупаем. Счётчик такси показывает 17, 18, 25 марок. Когда на счётчике 34 марки – уже семь вечера. Пакуем. Чемоданы едва закрываются. Около десяти мы внизу. Жена Шварца несёт дочь в бельевой корзине. Поезд уже на перроне. Даже не успели поговорить. «Прощай, Берлин!», – кричит Шварц и вост, как цепной пёс.

Берлин, среда, 4 января 1939 г.

«Он вернулся!», – раздаётся радостный крик в телефонной трубке. «Курт Гиршберг вернулся», кричу я Андрику. Мы бросаем всё и мчимся на Саксонскую улицу. Лизель стоит у дверей. Глаза её красны от слёз. «Тише, он спит», шепчет она. Врач только что ушёл. «На нём нет живого места. Всё обморожено. Они стояли на морозе –18С. Он пережил ужас», – говорит она, утирая слёзы. Любые слова утешения были бы лишними. Спустя два часа мы сидим у кровати Курта. Руки и голова забинтованы. «Слава Богу, вы вернулись»,

– говорим мы. «Было очень тяжело. Тяжело, когда надо стоять пятнадцать часов в строю. Шапка в руке. Ценные вещи в шапке. Стоять без еды, питья, ни разу не выходя из строя. Трое умерли от сердечного приступа, от удержания мочи. Плохо. Плохо, когда люди лежат в переполненном бараке на земле, плотно, как сардины в консервной банке. Чтоб кто-то повернулся, должны повернуться все сто семьдесят пять. Плечо к плечу, колено к колену. Солома шуршит. Возле тебя стонет товарищ. Ты не спишь, бодрствуешь, лежишь, как оглушённый. И ещё, тебя, замёрзшего, отчаявшегося, заставляют петь сентиментальные песни. «Смуглый лесной орех, смуглая тоже ты». Нет пальто и перчаток. Мёрзнешь и поёшь. Тяжело, когда они, опьянённые властью, срывают на тебе свою злость. Кулаком в морду. Стволлом между ног. Гоп! Проклятый жид! Кто не повинуется, того подвешивают за связанные за спиной руки. Заталкивают в дымовую трубу. Бьют, трясут, пинают. Мы повиновались, стояли навтыжку, когда двоих повесили у зажжённой ёлки... мы пели «Смуглый лесной орех» и «О, Танненбаум». Мы стояли два часа перед воротами за то, что подложили под рубахи газеты, чтобы хоть немного согреться. Руки по швам в восемнадцатиградусный мороз. Мы...». Он замолчал. «Тяжело, когда не можешь плакать. Немыслимо тяжело, когда...перестаёшь быть человеком». Он сказал это без пафоса, даже без гнева. Как будто констатировал научное открытие. «Когда вы покинете страну?» – глухо спросил Андрик. «Как только получу визу в Англию. Надеюсь, в ближайšie четыре недели». «Как можно выдержать такое?!» – думала я. Такой леденящий ужас!

Берлин, понедельник, 16 января 1939 г.

Постепенно все они возвращаются. Из Бухенвальда и Заксенхаузена. С голыми черепами и глазами, полными страданий. Патер Тарновски, Курт Шперлинг, Эрнст Ангел, Хайнц Розенталь и Пауль Вайс. Одни рассказывают одно, другие – другое. В Заксенхаузене можно было работать, но все мёрзли и были очень жёсткими наказания. В Бухенвальде работать запрещали. На сотни людей одно отхожее место. «Убийственная неделя», – описывали они первые семь дней. – Плохая еда, энтероколиты, поносы. Люди падали в судорогах. Построиться, чтобы выйти. Очередь перед отхожим местом. Поход в потусторонний мир. В первую неделю умерли сотни людей. Забиты, застрелены, замучены».

Берлин, пятница, 24 февраля 1939 г.

10 ноября открыло глаза даже самым патриотичным евреям. Кто имеет малейшую возможность, пытается бежать. Визу получить нелегко. Кажется, что все государства договорились максимально затруднить выезд евреев из Германии. Одни лимитируют эмиграцию, другие совсем запретили её.

Неужели мир не знает, в какой беде находятся 250 тысяч немецких евреев? Что такое четверть миллиона для всего мира? Это немилосердно, когда помощь зависит от того, сколько денег имеет нуждающийся. Горе тому, у кого нет ни денег, ни связей. Спасайся, кто может! Мы пакуем вещи, посуду, продаём книги. Рассматриваем атлас. Где находится Ла Пас? Новая Зеландия вроде ещё открыта. В Уругвае нужны врачи. Земледельцы могут ехать в Палестину. Глобус вертится. Бразилия на нём почти рядом. Лондон – как прогулка на Ванзее.

Если захотим навестить наших друзей, придётся покупать кругосветный билет.

Умственные профессии мало востребованы. Пробуют срочно освоить какое-нибудь ремесло. Повсюду ускоренные курсы: лечебной гимнастики, массажа, ухода за грудными младенцами, кулинарии, штопки, изготовления перчаток, изучения всех языков. Спасайся, кто может! На следующей неделе Гиршберги уезжают в Англию, Вайсманы – в Америку. Все готовятся в дорогу.

Берлин, понедельник, 17 апреля 1939 г.

Сегодня Фишеры летят в Лондон. Завтра уезжает фрау Розенберг. В аэропорту Темпельхоф мы постоянные гости. Каждый оставляет нам что-либо на память. «Не забывайте мою мать... позаботьтесь о тёте Иоганне... не правда ли, вы будете навещать дядю Генриха?» У всех кто-нибудь остаётся. И мы заботимся о них. Часто приходится разрываться на части. «Не правда ли, вы придёте опять?» – просит тётя Иоганна с глазами испуганного ребёнка. «Наконец-то я вижу вас!» – громыхает дядя Генрих. «А я уже думал, что вы перешли к наци». Эта эпидемия безумия так действует на людей, что недостаток времени вызывает подозрение в измене своим убеждениям. Мы не изменили их. Никто из нашего круга. Но мы боимся недоверия наших еврейских друзей. Мысль, что они могут подумать о плохом, смущает нас. Заставляет приходиться в условленное время. Даже тогда, когда нет времени, когда в нормальных условиях можно было бы со спокойной совестью прийти позже.

МИНА ПОЛЯНСКАЯ

ДЕЛО №14953

(К истории трагической гибели

Владимира Дмитриевича Набокова в Берлине)

Владимир Дмитриевич Набоков, юрист, публицист и государственный деятель, сын Дмитрия Николаевича Набокова, министра юстиции, и баронессы Марии фон Корф, родился 20 июля 1870 года в Царском Селе близ Петербурга и пал от руки убийцы 28 марта 1922 года в Берлине

Владимир Набоков. «Память, говори».

28 марта 1922 года в здании берлинской филармонии во время кадетского собрания выстрелом в сердце был убит один из основателей партии «Кадетов», член «Союза Освобождения», бывший депутат Учредительного собрания и министр юстиции Крымского правительства Владимир Дмитриевич Набоков. Этот террористический акт получил тогда в относительно «мирной» Европе огромный резонанс. Эмиграция находилась в состоянии шока. Более тысячи человек пришли на панихиду в русскую церковь, располагавшуюся в здании посольства России на Унтер ден Линден. На Русском православном кладбище в Тегеле на могилу Набокова были принесены венки от всех эмигрантских партий в изгнании.

Однако при подготовке отпевания потомственного русского дворянина произошло событие чрезвычайное: высшее духовенство зарубежной православной церкви запретило служить панихиду по «жиду Набокову». Скандал погасил митрополит Евлогий, не пожелавший унижить русскую церковь столь откровенным антисемитским лексиконом православной церкви, а заодно и «могучего» русского языка. Достойный священник отслужил па-

нихиду по убиенному и в посольской церкви, и в Тегеле. Тем не менее, словечко «жид» закрепилось в Берлине и за сыном Владимира Дмитриевича, писателем Владимиром Владимировичем Набоковым. А после женитьбы в 1924 году на еврейке Вере Евсеевне Слоним писателя в кругу черносотенцев иначе и не величали. Между тем, еще в 1906 году черносотенцы приговорили Владимира Дмитриевича Набокова к смерти. В составленном ими списке из шести депутатов (евреев или юдофилов) вторым значился Набоков.

Еще в Петербурге Владимир Дмитриевич Набоков прославился скандальной «юдофильской» деятельностью. Шестнадцать лет он окончил гимназию с золотой медалью. Обучался юриспруденции в Петербургском и Галльском университетах, двадцати шести лет получил звание профессора, преподавал в императорском училище правоведения, и, казалось, ничто не омрачало его будущего. К тому же и происхождение обязывало: отец его Дмитрий Николаевич Набоков в пору царствования Александра III состоял министром юстиции и членом Государственного совета.

В автобиографическом романе «Память, говори» Сирин-Набоков¹ рассказывает о первом серьезном «ослушании» отца на правительственном уровне, повредившем его карьере. Оно было связано с Кишиневским погромом: «Камер-юнкерам полагалось перед всяким публичным выступлением испрашивать на то разрешения у «Министра Двора». Отец, естественно, не стал этого делать, печатая в журнале «Право» свою знаменитую статью «Кровавая кишиневская баня», в которой осудил роль, сыгранную полицией в подстрекательстве к Кишиневскому погрому 1903 года. В январе 1905 года Набоков указом царя был лишен придворного чина, после чего прервал всякую связь с царским правительством»². (П. Крушеван за несколько месяцев до опубликования им «Протоколов сионских мудрецов» организовал погром в Кишиневе, во время которого было убито 45 евреев, более 400 ранено, 1300 еврейских домов и лавок разрушено).

В 1911 году Набоков вызвал на дуэль редактора влиятельной правой газеты за публикацию оскорбительной антиеврейской статьи. Дуэль, по счастью, не состоялась, поскольку редактор (ему понадобилось для принятия решения несколько дней) принес свои извинения. Сирин-Набоков уделил этой драматической истории – а также истории своего мучительного страха, страха двенадцатилетнего мальчика, день за днем ожидающего гибели отца, – целую главу автобиографического романа «Память, говори». Отцу суждено будет умереть преждевременной, насильственной смертью не на дуэли, а из-за пули, выпущенной ему в спину, спустя 11 лет, и тогда «траурные лилии застыт лицо того, кто лежит там, среди плывучих огней, в еще незакрытом гробу» (Память, говори).

Владимир Дмитриевич присутствовал на процессе по делу Бейлиса, со-

вершавшемся с жутким средневековым колоритом, поскольку выписаны были даже книги из Италии, «документально» подтверждающие факты ритуальных убийств. «В 1913 году правительство оштрафовало его на символическую сумму в сто рублей (примерно столько же долларов в то время), – вспоминал Сирин-Набоков, – за его репортажи из Киева, где после шумного судебного процесса Бейлис был признан неповинным в убийстве православного мальчика, совершенном в «ритуальных» целях».

Адвокат Бейлиса Грузенберг рассказывал, что видел в глазах Владимира Дмитриевича, постоянно находившегося в зале, выражение боли и ужаса.

Набоков неоднократно разоблачал антиеврейские фальсификации, в том числе и пресловутые «Протоколы сионских мудрецов».

Знаменитый полицейский апокриф был вновь (в который раз!) и без препятствий напечатан в Берлине в 1920 году с антисемитским предисловием в альманахе с многообещающим названием «Луч света», напоминающем о Добролюбове.

Сей «Луч света» в темном царстве всемирного еврейского заговора издавали будущие убийцы Владимира Дмитриевича. То были три таинственных сочинителя, подписывающиеся инициалами: Ф. В., П. Б. и С. Т., под которыми скрывались Федор Винберг, Петр Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий. В «Луче» печатались и произведения вышеназванных издателей. Например, такие, призывающие к борьбе с мировым злом, стихи Шабельского-Борка: «Бесстрашно за правду, всю правду узнав о происках тайных кагала, в защиту евреями поправных прав ты выступил в бой без забрала».

По странному (жуткому) совпадению сокурсник Сирина-Набокова Калашников, живший с ним в Кембридже в одной комнате, показал однажды ему три черносотенных альманаха. Юноша от бездарных антисемитских сочинений будущих убийц отца катался по дивану, всхлипывая от смеха, а впоследствии с ужасом вспоминал об этом совсем не комическом эпизоде. Ему казалось, что в тот памятный вечер был подан некий высший знак, который он не заметил, что прозвучало предостережение, которого по непростительному легкомыслию не услышал. На самом деле именно тогда антисемитская агитация приняла такие чудовищные масштабы, которых ранее не знала Западная Европа.

После большевистского переворота Набоковы, как и многие будущие эмигранты, оказались в Крыму, и там Владимир Дмитриевич в 1919 году еще успел побывать на посту министра юстиции Крымского Краевого правительства. Набоковы покинули Крым, когда большевики были уже в опасной близости. Когда отплывали на греческом пароходе «Надежда», уже был захвачен порт. Слышны были выстрелы, и эти звуки стали для Набоковых последними звуками России. На долю семьи выпали все трудности этого исхода: добрались через Турцию и Грецию до Лондона. Удалось вывезти с

собой небольшое количество фамильных драгоценностей, так что поначалу средств хватило даже на то, чтобы определить сыновей Владимира и Сергея в привилегированные учебные заведения. Владимир учился три года в Кембриджском университете на факультете русской и французской литературы.

Родители с младшими детьми переехали из Лондона в Берлин в 1920 году и поселились в Грюневальде по адресу Эгерштрассе 1, куда Владимир приезжал во время каникул. Квартира была снята у вдовы Рафаила Левенфельда, переводчика Л.Толстого и И.Тургенева. Здесь семья прожила до 5 сентября 1921 года. Этот ухоженный белоснежный двухэтажный особняк с лепным карнизом над массивной дубовой резной дверью и еще с полуциркульным окном над ним – по сути дела, единственный дом из многочисленных берлинских адресов В. Сирина, сохранившийся без изменений до наших дней.

Семья затем переехала на Зексшештрассе 67. Дом не сохранился – на его месте находится здание пятидесятих годов. Между тем, именно с этим адресом и связаны трагические события с убийством в здании берлинской филармонии.

Германия, выплачивавшая огромные репарации союзникам после поражения в Первой мировой войне и переживавшая значительные экономические трудности, тем не менее, стала мостом, соединяющим эмигрантский мир с Россией. В Берлине образовалось 40 русских книгоиздательств, готовых поставлять продукцию на советский и эмигрантский рынок. Среди издателей – Иосиф Гессен, друг Набокова и соратник по партии «Кадетов», бывший депутат Второй Государственной думы. Гессен состоял председателем берлинского Союза русских писателей и журналистов, основал издательство «Слово», а затем, вместе с Набоковым, ежедневную газету «Руль» при финансовой поддержке издательства «Ullsteinbuch». Газета «Руль» располагалась по адресу Циммерштассе 7-8 – здесь часто бывали старший и младший Набоковы (здесь же в 1926 году был опубликован первый роман В.Сирина «Машенька»).

Газета придерживалась либерально-консервативной линии и пропагандировала парламентскую демократию западного образца. Таким образом, она неизбежно оказывалась между двух огней: большевиками и правыми экстремистами.

Гессен впоследствии не избежал трагической участи жертвы нацизма. Он уехал из Берлина в Париж в 1933 году, а из оккупированного Парижа выбрался лишь в 1942 году (к этому времени его пасынок Штейн погиб в Освенциме) по специальной визе для выдающихся лиц, полученной по распоряжению Рузвельта. Однако потрясение от пережитого постоянного преследования подорвало его здоровье – он умер спустя три месяца после

приезда в Нью-Йорк, так и не повидавшись с Сириным-Набоковым, которого впервые опубликовал и на страницах газеты «Руль», и в издательстве «Слово». «Больше всего горжусь тем, что «Слово» было крестным отцом Сирина, – писал он в книге «Годы изгнания. Жизненный отчет».

Трагические события в марте 1922 года развивались следующим образом. Из Берлина в Париж после поездки в США прибыл основатель партии кадетов Павел Николаевич Милоков. 28 марта в зале берлинской филармонии на Бернбюргерштрассе 22/23 должен был состояться его доклад «Америка и восстановление России». На встречу с бывшим министром иностранных дел Временного правительства пришли тысячи эмигрантов. По странному стечению обстоятельств в это же время на Ноллендорфплатц в ресторане «Красный дом» состоялся съезд русских монархистов, в котором принимали участие немецкие монархисты. Поначалу на одновременность собрания и монархистского (читай: черносотенного) съезда внимания как будто не обратили. Однако после террористического акта в филармонии съезд был приостановлен немецкими властями.

Подобные совпадения не всегда случайны. «Странные сближения» такого рода на самом деле и становятся свидетельствами зарождения в Германии нацизма, грозные тени будущей диктатуры и другой мировой войны на счету у «века-волкодава» бродили по Берлину в памятные дни русской эмиграции, уже тогда благославляя на геноцид.

Милоков успел прочитать свой доклад до конца, после чего раздался выстрел Шабельского-Борка, который поднявшись со своего места в третьем ряду, принялся стрелять в Милокова, направляющегося уже к столу президиума, чтобы занять свое место. Сидевший в президиуме кадет Асперс, раненый в грудь, успел толкнуть Милокова на пол, а Шабельский вскочил на трибуну с криком: «Я мщу за царскую семью», расстреливая между тем толпу в зале.

На Шабельского кинулся Набоков, выкручивая руку с браунингом. Таборицкий трижды выстрелил ему в спину. В зале началась паника и давка, толпа устремилась к выходу и в гардеробе наткнулась на убегающего Таборицкого. С криками «убийца» он был пойман возмущенной толпой. В «Память, говори» Набоков вспоминал: «В 1922 году, когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил Милокова от пули двух темных негодяев, и, пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен в спину».

Три месяца спустя после убийства Набокова произошло убийство, на сей раз совершенное правыми силами, получившее оглушительный резонанс во всей Европе. 24 июня 1922 года группа молодых фанатиков, члены террористической организации «Консул», застрелила германского министра иностранных дел Вальтера Ратенау. Убийцы были абсолютно уверены не

только в том, что Ратенау действовал от имени «сионских мудрецов», но что и сам он являлся одним из них. Припев «Пристрелите Вальтера Ратенау, проклятую Богом еврейскую свинью» представляет собой типичный образец того, что распевали распоясавшиеся «молодцы» на улицах.

Коллективный экстаз пения – характерный признак немецкого шовинизма. В романе «Летит себе аэроплан» Горенштейна пассажиры, кондуктор, и вагоновожатый, вышвырнув иностранцев из трамвая (среди них Марка Шагала), хором запели: «Ин дер хаймат, ин дер хаймат, да гибтс айн видерзейн...». «Поющий трамвай» превратился в символ, неотвратимое знамение монолитного коллектива, фундамента, на котором будет стоять грядущая диктатура. Таков же фундамент коллективного пения в рассказе Сирина-Набокова «Облако, озеро, башня», где эмигрант во время увеселительной поездки был жестоко избит, поскольку отказался петь хором:

*Распростись с пустой тревогой,
Палку толстую возьми
И шагай большой дорогой
Вместе с добрыми людьми.*

Впрочем, мало ли признаков так называемого «роста национального самосознания» в отдельно взятой стране?

Кажется, что два политических убийства в Берлине в одном только 1922 году – бывшего русского министра Набокова и немецкого министра Ратенау, – совершились в параллельных мирах. В солидных объемных исследованиях на русском языке о Набокове я не заметила явно напрашивающихся сопоставлений этих двух убийств с временным расстоянием всего лишь три месяца и с «еврейской подоплекой».

Что же касается немцев, то естественно – для них эмигранты были «аутсайдерами». Толпы людей, выброшенных из России и бродивших по Берлину, а также обилие их заведений, как будто бы обособленных, отгороженных от остального мира в самом центре Берлина, создавало особый городской колорит, и, вероятно, производило на берлинцев впечатление гофмановской фантазмагии. Сирин-Набоков говорил, что эмигранты находились в этом вольном зарубежье «в вещественной нищете и духовной неге». Он называл коренных жителей Берлина туземцами и «призрачными иностранцами», в чьих городах русским изгнанникам «доводилось физически существовать».

Во время убийства Набокова в зале филармонии находился и сам руководитель акции: полковник Теодор Винберг, третий создатель «Луча», он же – член «Братства Михаила Архангела». Полковник был арестован, но затем отпущен за недостаточностью улик. Между тем, благодаря полковнику,

«Протоколы сионских мудрецов» выпущены были из недр России, подобно злему джинну из бутылки, в Европу, а затем в остальной мир, где по сей день гуляют, время от времени будоража головы не только бессмысленной толпы, но искушенных, глубоко образованных политических и религиозных деятелей, даже и епископов, ибо антисемитская ложь соблазнительна пуще многих других соблазнов. Именно Винберг был инициатором легендарного перевода «Протоколов» на немецкий язык. Автором перевода стал его немецкий приятель армейский капитан в отставке, издатель антисемитского и консервативного ежемесячника «Ауф форпостен» Людвиг Мюллер. Мюллер, любивший величать себя Мюллером фон Хаузенем, перевел и «Протоколы», и «Великое в малом» Нилуса. Впоследствии Монсеньор Жуэн, приложивший усилия для распространения «Протоколов» во Франции, заявил, что деятельность Винберга в Германии «стала отправной точкой в крестовом походе против еврейско-масонской угрозы».

Петр Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий, служившие на Кавказе русские офицеры, во время Гражданской войны отправились с немцами в Германию. Мать Борка, член «Союза русского народа» и «братства Михаила Архангела» являлась автором книги с устрашающим названием «Сатанисты XX века». Надо сказать, офицеры плохо устроились в Мюнхене: жили в бедном пансиончике в постоянной нужде. Однако же не теряли надежды получить финансовую поддержку для активной подрывной деятельности в Германии, тогда как в России во время переворота, а затем убийства царской семьи, они совсем куда-то исчезли, канули, что называется, в небытие. «Ни одного убежденного и верного монархиста, ни одного готового на жертву, – так и не оказалось на Руси», – писал в некрологе Набокову И. Василевский (Не-Буква). – И только теперь, на шестой год после революции они нашли в себе столько мужества и отваги, чтобы предательски напасть на беззащитного П. Н. Милокова и убить В.Д. Набокова и засыпать пулями мирную публику, пришедшую на лекцию».

Биографы Набокова не сумели узнать, кто финансировал поездку в Берлин для совершения политического убийства.

Впрочем, дело об убийстве Набокова сохранилось и в настоящее время находится в фондах «Тайного Государственного архива» под регистрационным номером 14953.

На суде террористы обрадовались, узнав, что вместо Милокова убили Набокова. Павел Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий были приговорены соответственно к двенадцати и четырнадцати годам заключения, однако спустя пять лет, в 1927 году были помилованы. При нацистах эти два русских «патриота» занимали важное положение в контролируемой гестапо русской эмигрантской иерархии. Таборицкий стал правой рукой генерала Бискупского, скрывавшего у себя молодого Гитлера после провала Мюн-

хенского путча, ведавшего при Гитлере делами эмигрантов; Шабельский-Борк получил (заработал) пенсию героя вместе с заданием организовать русское фашистское движение.

Когда сестре Сирина-Набокова Елене в Праге понадобился документ, подтверждающий ее расовую полноценность, она получила его из Берлина из учреждения с названием «Служба доверия» (Vertauenstelle für Russische Flüchtlinge), располагавшегося по адресу Бляйбтройштрассе 27, за подписью убийц отца. В переводе с немецкого «бляйбтрой» означает буквально: оставайся верным. Эта улица Верности, одна из центральных улиц Берлина, берущая свое начало у Курфюрстендамма, с тем же трогательным названием – невинная свидетельница преступлений против человечества – существует и в наши дни.

Увы, затерялись в 1945 году следы Сергея Таборицкого – убийцы Набокова. Быть может, принял другое имя и другую веру, мусульманскую, например, и с ней, с этой верой, просидел неподвижно, скрестив ноги, до конца своих дней, устремив настороженный взор в дрожащее от солнечного потока пространство под жарким небом марокканской или какой-нибудь другой пустыни, тщательно укутанный в белое полотно и платок. Аллах ему судья! А может (страшно подумать), благодаря свободному доступу к документам евреев, прихватил еврейские метрику и паспорт одного из 6 миллионов жертв холокоста, вынырнул где-нибудь в качестве этой жертвы и сделал новую карьеру, благо мир иной раз на удивление доверчив?

А что же Шабельский-Борк? Он, следуя примеру многих нацистов, скрылся в делях солнечной гостеприимной Аргентины. Впрочем, не совсем скрылся: в пятидесятых годах он вдруг объявился с опубликованной книгой о либералах и евреях, предавших Россию. Разумеется, он ни в чем раскаивался, а наоборот, заявил, что убийство Набокова было не случайным – такова, по его «компетентному» мнению, была воля провидения.

В 1922 году, в номере пятом берлинской газеты «Накануне» едва заметным столбцом, в левом нижнем углу напечатан был некролог Алексея Толстого Владимиру Дмитриевичу Набокову с названием «Рыцарь». Этот крошечный некролог остался в памяти поколений русской интеллигенции настолько, что даже в глухие брежневские времена Советской России он, отпечатанный на машинке на тонкой папиросной бумаге, тайно передавался из рук в руки (напоминаю: имя Набокова находилось при советах под строжайшим запретом, и нельзя было его вслух произносить). Я впервые прочитала некролог именно в таком, отпечатанном на машинке виде в 1980 году.

Набоков и Толстой были давними приятелями: в качестве военных корреспондентов оба в 1916 году в числе шести русских журналистов командированы были в Англию. В эмигрантском Берлине Толстой часто навещал

Набокова на Зексишештрассе 67 и, разумеется, присутствовал на панихиде в посольской церкви и на похоронах.

Толстой в некрологе несколько раз назвал Набокова рыцарем. Пожалуй, рыцарь – наиболее точное определение личности этого человека. Привожу некролог полностью:

Рыцарь

Взволнованный голос пробормотал в телефонную трубку:

- Ужас...ужас... Убит на месте Набоков.

Потрясенное сознание, протестуя, не веря, не допуская, вызывает у меня живой образ живого человека.

Я его вижу: рослый, красивый, гордый, быть может, слишком не по нынешним временам красивый и гордый человек, из породы отчаянных: Владимир Дмитриевич Набоков.

Человек с высокой душой, с возвышенным умом.

Про таких людей говорят устаревшее ныне слово: «Рыцарь». Да, я знаю. Жил он мужественно и честно и умер так, как умирают люди, имя которых заносится в золотые списки бессмертия: защищая чужую жизнь, своего политического противника. Когда он схватил убийцу за руку, – людишки, эти все друзья, борцы, благороднейшие личности, исчезли, как пыль. В опустевшей зале боролись рыцарь и убийца.

А другой убийца подошел к рыцарю и выстрелил ему в сердце.

Черные руки, черные не от земли, не от работы, – от черной, скипевшейся в ненависти крови, протянулись за новой жертвой, отняли высокую жизнь.

Вы, стреляющие сзади, убиваете самих себя. Ваше дело – черное, проклятое. И смерть Набокова лишь с новой силой поднимает сердца на защиту от черных рук Великомученицы России.

Писатель Владимир Набоков посвятил отцу лучшие страницы своих произведений. Он, кажется, уверовал в нетленность своего отца. Страстным желанием обессмертить проникнуто его стихотворение «Пасха»(1922), заканчивающееся отчаянным призывом : «Ты живешь!...» Спустя год после гибели отца Набоков посвятил его памяти стихотворение «Гекзаметры»:

Смерть – это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю,
Ты, погруженный в могилу, пробужденный, свободный,
Ходишь, сияя незримо, здесь, между нами – до срока,
Спящими...

О, наклонись надо мной, сон мой подслушай...

Набоков утверждал, что отец помогает ему в его творчестве: «И я знал, что

он помогает мне». Выпущенный впервые в Берлине сборник стихотворений «Горный путь» он посвятил памяти отца, предварив эпиграфом – строкой из стихотворения Пушкина «Арион»: «Погиб и кормщик и пловец».

¹ Отец и сын, оба - Владимир Набоков. Для ясности я в некоторых случаях буду называть писателя Владимира Набокова: Сирин-Набоков (В.Сирин – псевдоним писателя в течение пятнадцати лет жизни в Берлине).

² Цитаты, приводимые мною из автобиографического романа Набокова «Память говори», можно найти и в предшествующих изданиях писателя. Набоков написал в 1951 году на английском языке книгу с названием «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство»), сделал в 1953 году собственный ее перевод на русский язык, назвав «Другие берега». Поздний вариант книги (1967) – «Speak, Memoir» («Память, говори».)

КАРЛ АБРАГАМ

**ОБ ОДНОМ ИЗ ОСТРОВОВ
«АРХИПЕЛАГА»**

«До и после». Вчера, сегодня, завтра. Скоро 20 лет, как четвёртая волна русской эмиграции обосновалась на землях Федеративной Республики. Теперь мы живём в другой стране, мы стали её частью, как говорят, успешно интегрировались в немецкое общество и, поэтому её история, скажем, её новейшая история, нам не безразлична. «До» поворачивается к нам новыми гранями, обретая для нас новый смысл, потому что *их* прошлое это тоже *наше*. Бывает и так, что *их* и наше причудливо переплетаются между собой.

С некоторых пор я стал интересоваться судьбой немецких военнопленных. Прежде всего, я задал себе вопрос, кто есть военнопленный, точнее, кого считать таковым? В соответствии с третьей Женевской конвенцией 1949 года к военнопленным относят следующих лиц, взятых противником в плен: военнослужащих регулярных воинских частей, включая полицейские силы, штатских граждан, выполняющих военные заказы и, наконец, ополченцев. За четыре дня до капитуляции третьего рейха Верховное командование Советской армии объявило, что за время войны в советский плен попало 3,18 млн. немецких солдат и офицеров. Однако по данным Ludwig'a Peters'a (1) число «военнопленных» после этого продолжало расти, и достигло 4,5 млн. человек. (К сожалению, нам не известно число немецких военнослужащих, взятых в плен советской стороной в последние дни войны). Эти миллион четыреста тысяч немецких граждан были арестованы на территории Германии уже после войны и отправлены в советские лагеря. Если брать во внимание Женевскую конвенцию, то они никак не вписываются в категорию военнопленных, а скорее являются жертвами произвола советских оккупационных властей. В немецких первоисточни-

ках, посвящённых этой теме, постоянно высказывается несогласие с тем, чтобы относить немцев, подвергшихся репрессиям после 1945 г., к военнопленным. Некоторые исследователи считают, что с юридической точки зрения это допустимо, т.к. Советский Союз на то время формально ещё не заключил мирный договор с Германией и, следовательно, находился с ней в состоянии войны. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией» был опубликован лишь в 1955 году.

Постараемся разобраться, каким образом советским карательным органам удалось уже после войны упрятать за решётку более миллиона немецких граждан. Со дня выхода в свет «Одного дня Ивана Денисовича» прошло более полувека. До этого мы почти ничего не знали о жизни заключённых, сидевших в лагерях по политическим мотивам. Ещё через некоторое время в обиход советских граждан вошло новое словосочетание «Архипелаг Гулаг». Острова «Архипелага» чёрной оспой покрыли всю страну Советов. По данным Н.Leutelt'a (2) до войны в составе Гулага было 16000 лагерей, в которых находилось 18 миллионов заключённых, из них одна пятая женщин. Количество депортированных граждан из всех советских республик составило 52 миллиона человек. После войны практика политического террора продолжалась и распространилась на оккупированные страны. На занятой советскими войсками территории появилось десятки тюрем, которые обслуживались сотрудниками МВД СССР. Следователи, военная охрана, надзиратели и прочий персонал выполняли госзаказ: обеспечить как можно больше обвинительных заключений, чтобы после так называемого суда отправить заключённого на Крайний Север, в Сибирь, на строительство железных дорог, на лесоповал или для работы в шахтах и рудниках. Условия работы и жизни в лагерях были, как известно, губительными. Молох Гулага пожирал миллионы человеческих жизней.

Горестный путь зека начинается со следственной тюрьмы. Перефразируя слова классика, заметим, что все следственные тюрьмы похожи друг на друга, судьба каждого узника несчастна по-своему. Жирной точкой на карте Гулага обозначена берлинская тюрьма Hohenschönhausen. Она не менее знаменита, чем, скажем, «Бутырки» в Москве, «Кресты» в С-Петербурге или Лукьяновская тюрьма в Киеве. Здесь вершилась судьба арестованных, попавших в руки МВД. Это были в первую очередь политические противники Советской власти: представители немецкой интеллигенции, члены различных демократических партий, возродившихся после войны, коммунисты, выступавшие против оккупационного режима, некоторые советские офицеры, критиковавшие советское руководство, бывшие немецкие военнослужащие, скрывавшие своё членство в партии национал-социалистов и члены объединения «Вервольф» (Werwolf).¹

Что из себя представляла следственная тюрьма Hohenschönhausen? Представьте огромное трёхэтажное здание из красного кирпича, обнесённое высокой каменной оградой с колючей проволокой, с вышками по углам. С 1946 по 1951 годы здесь располагалась следственная тюрьма МВД СССР. Делопроизводство, допросы, зачитание приговоров велось на русском языке. Да, были переводчики, но связь со следователем, по существу, была односторонней. Адвокатов при допросах не было, о презумпции невиновности подследственного забыли, по-моему, с 1917 года. В подвале здания находились пыточные камеры. Большая часть из них была без окон. Арестованный, доставленный в следственный изолятор, попадал в мир неизвестности и страха. Его вели по коридорам подвала, похожим на лабиринт. Всё было сделано для того, чтобы арестанты не встречались друг с другом. Тусклый электрический свет круглосуточно освещал камеру. Мне не хотелось бы заниматься пересказом чужих мыслей. Будет уместнее дать слово одному из узников этой тюрьмы, автору книги «Как это было на самом деле» Will Noebe.²

«Чёрный ворон миновал железные ворота, и я оказался в цитадели МВД, в берлинской тюрьме Hohenschönhausen. Мы, мой охранник и я, прошли в здание... в котором, как выяснилось, прежде находилась фабрика по производству мясорубок. Меня вели по широкому коридору, с множеством дверей. У одной из них остановились, охранник постучал и громко спросил: «Можно?» По-русски что-то ответили. Вохровец открыл дверь. Я оказался лицом к лицу с одним из двух майоров, которые затем присутствовали при моём допросе генералом. Майор без каких-либо предисловий начал орать на меня: «Вы американский шпион, вы работали против Советского Союза, вы руководитель подпольного антисоветского центра, вы диверсант!» Я пытался возразить. Но майор продолжал распалаться.

Предварительное знакомство с энкаведешником ничего хорошего не сулило. Все выкрики: «шпион», «диверсант», «злостная антисоветская пропаганда», «подпольная работа», «вон отсюда» звучали как угроза. Последующие события подтвердили мои наихудшие опасения. Пройдя железную, решётчатую дверь, мы оказались в подвале. В караульном помещении за столом сидел офицер, на скамье – два капрала, у одного был пистолет за поясом, другой держал в руках длинный нож. Затем меня привели в небольшую комнату, обложенную кафелем, и заставили встать лицом к стене. Вверху было небольшое окно, забранное решёткой, и клочок серого неба. Мне казалось, это последнее, что я вижу в жизни. Почувствовав металлический ляг за спиной, я ждал прикосновения пистолета к затылку. И ошибся. С меня сняли наручники и заставили раздеться догола. Началась процедура, которая на тюремном жаргоне называется «шмоном». Проводится он с фанатичной основательностью в самое неподходящее время дня и

ночи. Исследованию подлежат все швы одежды и подкладка. Ищут иголки, пилочки, стержни от шариковых ручек, свёрнутые в трубочку записки и драгоценные камни.

Один из капралов исследовал мою одежду, другой срезал с неё пуговицы, крючки, застёжки. Были изъяты шнурки от ботинок и лента от шляпы. Со смешанным чувством я оделся. Пока меня вели обратно, до меня дошёл смысл происходящего: человек, который теряет обувь, вынужденный рукой придерживать постоянно сползающие штаны, вряд ли станет думать о побеге. Человек, лишённый ремня, подтяжек и лент, никак не сможет повеситься или удавиться. Без срезанных крючков и застёжек узнику будет трудно вскрыть себе вены.

Мы оказались в длинном коридоре, в который выходили двери тюремных камер. Остановились перед одной из них. Лязгнули засовы, дверь с шумом открылась. Меня подтолкнули, и я оказался в маленьком помещении. Пахло спёртым воздухом, и я увидел пять обнажённых фигур. Они стояли вместе на свободном «пятакке», большая часть помещения была занята нарами. Здесь же находилась параша. Жара была невыносимой. Люди обливались потом, несмотря на то, что на них никакой одежды не было.

Мы познакомились. Один из арестантов стал оказывать мне всевозможные услуги. Достав из расщелины нар иголку с ниткой и пару пуговиц, он начал приводить в порядок мои штаны. С одной стороны, я был немало удивлён, что в его «хозяйстве» оказались все эти предметы, с другой – был благодарен за помощь. Он интересовался моей жизнью, и я охотно отвечал на его вопросы. Незаметно для моего собеседника, кто-то легонько толкнул меня в спину. Я подумал, что мы мешаем остальным, и стал говорить тише. Меня толкнули повторно. И тут до меня дошло, что со мной говорит провокатор.

Камера, в которой находилось шесть узников, была величиной в 10 квадратных метров. Для свободного «передвижения» оставался участок пола размерами 1,5 на 1,75 метра. Теснота на нарах позволяла лежать только на боку. Матрацев не было, лежали на голых досках. В результате крайнего истощения у некоторых заключённых начали появляться пролежни. Дважды в день подследственный получал по 800 гр. «супа», состоявшего из воды со следами пшена, и 400 гр. хлеба, который был настолько сырым, что после сплющивания этой порции на ладони оставался небольшой комок серого цвета. При этом заключённый должен был 15 часов бодрствовать. Ему разрешалось стоять, ходить в пределах возможного, сидеть на нарах. Но не спать. Тот, кто засыпал, подвергался избиению и отправлялся в штрафной изолятор. В 10 вечера удары колокола извещали об отбое. Люди, постоянно думающие о своей семье, измученные условиями содержания, занимали место на нарах и тут же засыпали. Через 20-30 минут лязгал засов, дверь

с шумом открывалась, и надзиратель нарочито громко вызывал нужного ему арестанта: «Как фамилия?», «Как фамилия?», «Как фамилия?» – глумливо повторял он. Когда нужный человек откликнулся, надзиратель звал его к выходу: «Иди сюда!» Всё ещё находясь в объятиях Морфея, заключённый неуверенной походкой следовал за надзирателем. Лестница вела наверх, в кабинет следователя. Большинство допросов в тюрьмах МВД совершается в ночное время.

В кабинете для допросов были металлический шкаф для документов, огромный стол с креслом для следователя. Стул для переводчика. У стены – стул для подследственного. Допрашиваемый обязан сидеть прямо, не облокачиваясь, с сомкнутыми ногами. Удаление наручников при допросе рассматривалось как великая милость. Допрос мой начался по классическому сценарию: вначале следователь неспеша достал пистолет из ящика письменного стола, зарядил его, снял с предохранителя и прицелился мне в голову. Затем положил оружие на стол. После этого положил металлическую линейку рядом с пистолетом. За линейкой последовал нож для вскрытия конвертов и, наконец, резиновая дубинка. После этих приготовлений началась вербальная часть допроса:

«Я знаю, что вы лжец. Вы обманули общественность, вы врали на своих собраниях, вы попытаетесь и здесь врать. Но будьте уверены, – тут он повысил голос и взглянул на стол, – у нас достаточно эффективных средств, чтобы получить от вас правдивые показания». Я возразил, что у меня нет оснований говорить неправду, что все мои действия были согласованы с советской администрацией.

– Стало быть, вы готовы признаться?

– Мне не в чем признаваться... Я не успел закончить фразу.

– Собака – заорал он, схватил резиновую дубинку и приблизился ко мне.

– Все ваши сотрудники арестованы, они сидят внизу, в камерах рядом с вами. Они достаточно благоразумны и уже во всём сознались. Он размахивал перед моим лицом дубинкой. – Не выкручивайтесь, вам это не поможет, и вы во всём сознаетесь.

При допросах используют удары металлической линейкой по затылку обвиняемого. Пощёчины, пинки, плевки, хватание за половые органы, зуботычины – всё это в порядке вещей.

В комнату внесли словари по экономике, и началась дискуссия, длившаяся несколько ночей, о намерениях нашей группы, о Прудоне, о духовных и экономических принципах и о возможностях (здесь о невозможностях) синтеза социализма и индивидуализма. Все мои рассуждения могли обернуться против меня. Мою точку зрения могли при желании рассматривать как вмешательство во внутренние дела Советского Союза.

Допрос сопровождается неслыханными ругательствами, угрозами и

старательным протоколированием. Вопросы следовали один за другим. Я должен быть предельно внимательным, чтобы меня не подловили на каком-нибудь противоречии. Губы мои от жажды потрескались, язык прилипал к нёбу, глаза от переутомления слезились, тело сотрясал озноб. Иногда допросы затягивались до четырёх часов утра. После них воспринимаешь камеру как спасительную гавань. Наконец можно поспать. Но только до 7 утра. Звук колокола извещает о побудке, и начинается пятнадцатичасовое бдение. В 10 вечера – отбой. Не каждый может выдержать такое. За семь с половиной лет заключения я видел плачущих священников, медленно умирающих здоровенных мужчин и пять попыток самоубийства. Всё это были люди, занимавшие в жизни достойное место. Один из них был даже мастером по боксу.

Через некоторое время я и мои сокамерники выглядели измождёнными, осунувшимися, с впалыми щеками и чёрными кругами под глазами. Некоторые исхудали настолько, что были похожи на скелеты. Распространились фурункулёз, кожные болезни, туберкулёз, авитаминоз и психозы с бессмысленными драками, когда вдруг один из арестантов без какой-либо причины набрасывается на другого и бьёт его с остервенением, пока его не оттащат.

Этим перечислением методы дознания не исчерпывались. Начиналось всё с ухудшения условий содержания заключённого. Есть штрафные камеры или попросту карцер. Для начала арестанта помещают в камеру-одиночку. В ней ты лишён общения днями, неделями, месяцами. За 7,5 лет заключения я провёл в одиночной камере в общей сложности 12 месяцев. Если ты после этого ещё не сломался, тебя помещают в плоскую камеру, в которой можно только сидеть. Есть совсем плоские камеры, в которых узнику удаётся стоять только на коленях. И без того скудный рацион заключённого сокращается.

Существует особо жёсткие формы карцера. Разные для разных времён года. Летом часто используют водный карцер. Для узника это всегда неожиданность. Его подводят к закрытой камере и сообщают об обыске. Арестант знает, что для этого надо раздеться. Оставшись в чём мать родила, он вдруг замечает, что вещи его уносят, а двое других надзирателей запихивают его в узкую камеру. И тут камера заполняется водой. Дойдя до критического уровня, вода спадает. И так бесконечное количество раз – подъём воды и спад, подъём и спад. Питание в такой камере сведено к минимуму.

И я подвергся наказанию в карцере строгого режима, только не в летнее, а в зимнее время. Цель карцера – сломить человека окончательно. Это – бескровное преднамеренное убийство. Я выжил в камере месяц, благодаря своей крепкой натуре. Стояла ранняя зима, начало ноября. Старшина и два других охранника, не помню уже за какую «провинность», отвели меня в

камеру с незастеклённым окном. Температура воздуха в ней была такой же, как на улице. Часть окна обита жёстью так, что узник видит только узкую полоску неба. Тем не менее, снег, иней, дождь и ветер имеют свободный доступ в помещение. Грязный холодный пол и жестяная посуда для справления нужды – это всё, что находилось в камере. Под предлогом обыска меня заставили раздеться и оставили одного в камере, отобрав ещё и очки. Ежедневно я получал два ломтика хлеба и кружку желудёвого кофе. Раз в три дня – тарелку супа. В 10 вечера в камеру заходило два специально обученных амбала, подталкивали меня к окну, где намело порядочно снега, и начинали избивать.

Через 17-18 дней у меня появились галлюцинации, сначала зрительные, затем слуховые: стены начали качаться, пол то поднимался, то опускался. Стены казались мне разрисованными всевозможными картинами. Я слышал мелодии, слова, целые стихотворения, свое имя и имена других людей. Позднее, в лагере, один художник из Москвы рассказывал мне, что после допросов с пристрастием он видел на стенах картины Шагала и Тулуз-Лотрека. Какой-то незнакомый голос заставлял его вытирать эти картины, чтобы они не запылились, что он и делал: целый день вытирал рукой стены. Спать на бетонном полу нельзя, иначе замёрзнешь. Поэтому учишься спать на корточках. Аутогенная тренировка, дыхательные упражнения и гимнастика позволили мне всё это выдержать. Последние дни пребывания в этой пыточной камере я плохо помню. И всё же, я не забывал каждый день делать ногтем отметку на стене. После того, как меня выпустили из карцера, я мог передвигаться только на четвереньках. Лишь через 3 месяца я кое-как пришёл в себя.

Понятно, что эти обрывочные впечатления не могут претендовать на исчерпывающее описание методов допросов в следственной тюрьме МВД. Однако, мне удалось показать, что человек, однажды попавший в их руки, в любом случае будет осуждён.

Около 6 месяцев я провёл в тюрьме Hohenschönhausen. После зачтения приговора – семь лет исправительно-трудовых лагерей – я по этапу был отправлен в Сибирь».

Литература: 1. *Peters, Ludwig. Das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen. Wir haben Euch nicht vergessen.* 480 S. Grabert-Verlag, Tübingen, 1995

2. *Helmut Leutelt. Menschen in Menschenhand.* 324 S. Paul List Verlag, München, 1958

3. *Will Noebe Wie es wirklich war.* 68 S. Telos – Verlag, Berlin, 1959

¹ В сентябре 1944 г., когда исход войны был уже ясен, Гиммлер подписал распоряжение об организации партизанского движения на территории Германии. Сюда привлекались эс-совцы, юноши из гитлерюгенд и партийные функционеры. Werwolf – образ из германской

мифологии – оборотень, могущий превращаться в волка. Только в одном Берлине к концу 1944 г. в объединение «Wegwolf» удалось собрать около 5000 добровольцев.

² За свою антифашистскую деятельность Will Noebe, участник Первой Мировой войны, писатель и публицист, провёл 7 лет в гитлеровских концлагерях. В 1945 году он вышел на свободу, собрал вокруг себя группу единомышленников, которые боролись за новую демократическую Германию. За свои новаторские идеи (право каждого гражданина на землю, земельную ренту сделать общедоступной, не ущемлять единоличные хозяйства, выступал с критикой планового хозяйства и т.п.) он был арестован в 1948 году и сослан в Сибирь.

МАРК ШЕЙНБАУМ

ЛЬВОВСКИЕ КНИЖНИКИ

Библиофил – это человек очарованный книгой. Кроме заглавия книги и её автора, он помнит где, когда и кем издана книга, кто её иллюстрировал, цвет переплёта и многое, многое другое, что на первый взгляд может показаться бесполезным. Он часами роется на книжных развалах, в надежде набрести на заветный раритет и, несмотря на осуждающий взгляд супруги, приносит домой всё новые и новые приобретения, забывая о пределе вместимости своей квартиры. Настоящий библиофил помнит, при каких обстоятельствах и когда он приобрёл каждое из своих сокровищ, и даже какая в тот день стояла погода. Библиофилы не перевелись и в век электроники и компьютеров. К счастью, не исчезла ещё и профессия букиниста – лощмана в книжном океане. Наш век, усадив библиотекаря и букиниста за компьютер, не лишил их профессию особого флера.

Счастлив тот, у кого хобби совпало с профессией. Подобные случаи встречаются именно среди букинистов. Известны целые их династии. Много таких династий, оставивших заметный след в своём деле и в истории родного города, насчитывает Львов.

Не случайно герой рассказа Стефана Цвейга «Мендель-букинист» был в Вену именно из Восточной Галиции, то есть из Львова или его окрестностей. Годами, сидя за столиком в боковой комнатухе венского кафе, Мендель вчитывался в бесконечные книжные каталоги так, как его учили читать тору в галицийском хедере – «нараспев и раскачиваясь», пишет Цвейг. Среди львовских букинистов было много тех, кто мог послужить прототипом Менделя-букиниста. В 1934 году в издававшейся во Львове газете «Chwila» («Момент») было опубликовано обширное, единственное в своём роде, исследование Иозефа Маена о львовских кафе. Там можно прочесть, что годами корреспонденция одному из здешних книговедов приходила по адресу: «Львов, кафе „Рома”, третий столик слева от входа», без других указаний.

Первым букинистом во Львове, о котором сохранились достоверные сведения, был Давид Игль. Он несколько лет занимался торговлей старой книгой вразнос, а в 1795 году открыл первый букинистический магазин в городе на улице Гончарной, неподалёку от Галицких ворот. При этом он обязался предоставлять свои книги по первому требованию цензора. Кайзеровская администрация была не слишком придирчивой, и никто из цензоров так его и не потревожил. Со временем на этой улице, по чётной её стороне, выхлёстываясь порой и на соседнюю Галицкую площадь, открылся целый ряд букинистических магазинов. Бурная история Львова обусловила многократное переименование здешних улиц. Та, о которой речь, вскоре получила имя польского короля Стефана Батория (она была названа так ещё во времена австрийского владычества), затем несколько десятилетий – была улицей советского генерала Ватутина, теперь – это улица Князя Романа. Возможно, если бы её с самого начала назвали улицей Букинистов, стольких переименований не потребовалось бы. Конкуренции между букинистами, магазины которых располагались рядом, не замечалось. По описаниям современников это выглядело приблизительно так. В своём, похожем на вагон, узком магазине «Книжная моль» (это подлинное название одного из магазинов), освещённом газовыми горелками, сидит на возвышении за металлической кассой его бородатый хозяин Мозес Хирш Рубин. Дело происходит приблизительно около 1912 года. Висящий над входной дверью колокольчик оповещает об очередном покупателе. Мозес, оторвавшись от бесконечного чтения книжных проспектов и каталогов, осведомляется, чем интересуется «Высокочтимый пан». Выясняется, что речь идёт о польской книге религиозного содержания.

«Религиозных книг не держим, но продать можем. Наум, сбегай к Малиновскому!». Спустя короткое время покупатель уходит, унося в руках искомую книгу и ещё две, купленные попутно в магазине самого Рубина. Книга, принесенная от Малиновского, продана без наценки. Реноме обоих магазинов сохранено.

В начале XX века, вплоть до второй мировой войны, Рубин был владельцем нескольких букинистических магазинов во Львове. С 1922 по 1939 годы им издавались также каталоги букинистической книги. Кроме того, он издавал «Антикварный бюллетень», в котором можно было почерпнуть сведения о книжных аукционах, каталогах, редких книгах. Им издавались и специальные тематические бюллетени. Книжные аукционы происходили обычно после приобретения магазином чьей-то обширной библиотеки. К ним также печатались подробные каталоги. С 1928 по 1938 год Рубин издал 30 каталогов. В 1935 году им был издан каталог «Библиография», который и сегодня является предметом вождления книголюбов. Он появился на базе книжного собрания одного из львовских библиофилов. Собрание

это включало книги по библиографии, истории печатного и переплётно-го дела и книгоиздательства, там излагались судьбы отдельных книг, в том числе инкунабул. Рубин в 1937 году издал также каталог книжной графики по собраниям известного львовского врача Марка Райхенштейна.

Выходил редактируемый Рубиным ежемесячный журнал книголюбов, который носил то же название, что и магазин – «Книжная моль».

Несколько слов о довоенном Львове. Население города до 1939 года, то есть до вхождения Львова в состав СССР, насчитывало всего чуть больше 300 тысяч человек (в настоящее время около 800 тысяч). Здесь жили украинцы, поляки, греки, армяне, немцы. Треть населения города составляли евреи. В книжном деле их участие было самым заметным. Чересполосица культур, их пересечение и сращивание часто оказываются продуктивными. Львов уже тогда был культурной столицей Западной Украины: здесь множество музеев, несколько театров, в том числе – оперный, консерватория. В межвоенные годы Львов был вторым после Варшавы в Польше городом по количеству книжных издательств. Здесь издавались книги на польском, украинском, армянском, иврите, идиш, немецком.

Здесь обучали печатников. Из двух полиграфических институтов на постсоветском пространстве, – один находится и сегодня во Львове.

Вернёмся к львовским букинистам. Давид Игль и его потомки вписали одну из самых заметных страниц в историю букинистики Львова. Польский писатель-историк Мечислав Опалек посвятил этой династии трактат под заглавием «130 лет среди книг». Автор имел в виду годы с 1795 по 1925. История династии продолжилась и после выхода книги, и охватывает период с 1795 по 1941 годы. Её прервал Холокост. Книга эта могла бы, по крайней мере, носить заглавие «146 лет среди книг». А возможно история этой династии продлилась бы и дольше? Каждое поколение вносило что-то новое в семейное дело. Сын Давида Залман (1813-1870), кроме книжной торговли занимался и издательской деятельностью. В частности им были иданы 24 тетради «Библиотеки Львовского театра». Вдова Залмана Хана передала бразды правления старшему сыну Хиршу. Он подключил к делу и остальных братьев: Иосифа, Муниша и Лейбу. Их деятельность ознаменовалась созданием сети агентов во всех трёх разделённых в то время частях Польши и за её границами. Некоторые из агентов были весьма удачливыми. Как-то один из них в Лейпциге закупил весь тираж издания словаря Брокгауза на польском языке по бросовой цене, на вес. Сын Хирша Збигнев Игль в межвоенный период владел несколькими магазинами на той же улице Стефана Батория. Отделившись от него, в свою очередь, его сыновья, Давид и Генрих вели книжную торговлю по соседству с отцовским магазином и на других улицах города. Постоянные покупатели были хорошо осведомлены, какие книги у кого из Иглев можно приобрести. Некоторые их мага-

зины функционировали ещё и при, как это называлось в Западной Украине, «первых советах», то есть в 1939 – 1941 годах. Младшие Игли вели поиск антикварной книги как в пределах земель, принадлежавших до 1918 года Австрии, так и во владениях царской России – Варшаве, Вильнюсе, Лодзи, а позже по всей независимой Польше и за её пределами. В поисках редких книг они объезжали поместья польских магнатов, участвовали в книжных аукционах по всей Европе, их можно было встретить и у книжных развалов на набережной Сены.

Существовала торговля антикварной книгой по почте. Генрих Игль пережил в подполье немецкую оккупацию, и в 1945 году открыл букинистический магазин в Лодзи, а позже и в Израиле. Его отец и брат погибли в лагерях уничтожения.

Среди букинистов действовали особые правила поведения, предусматривавшие высокую степень коллегиальности и профессионализма. Всё это были люди высокой морали у которых слово, данное торговому партнёру, было дороже любого векселя.

Для людей этой формации поиск редкой книги, её сохранность был делом всей их жизни. Это были максималисты, стремившиеся проявить себя знатоками своего дела, постоянно обогащавшими свои знания о книгах. Они были дружны с выдающимися людьми своего времени и пользовались у них заслуженным авторитетом. Денежный эквивалент их труда был для них далеко не самым главным.

Продажная цена, как правило, снижалась, если книга уходила в «хорошие руки», к настоящему библиофилу. Опытный букинист настоящего любителя книги распознавал с первого взгляда. Нечестную конкуренцию в их среде представить себе было невозможно. Рядом расположенные магазины дополняли друг друга по тематике книг. Издаваемые каталоги помогали найти нужную книгу в любом из магазинов. Не случайно Львов был избран в 1930 году местом проведения съезда библиофилов. Один из его участников вспоминал впоследствии: «Когда я заглянул в книжную лавку Иглев на улице Батория и спросил у продавца о некоторых книжных редкостях, ко мне подошёл пожилой седой человек. Было заметно, что он плохо видит. Он спросил, не я ли буду паном Яном Михальским. Оказывается, я имел честь познакомиться с самим Збигневом Иглем, а меня он вычисил по печеню книг, которые я искал».

В первой половине XX века торговлю антикварной книгой во Львове вели и члены других династий. О своём львовском детстве того времени и о тогдашних книжных лавках букинистов вспоминал в эмиграции в Нью-Йорке известный польский писатель Иозеф Виттлин: «Вместо того, чтобы исправно получать двойки в гимназии, можно было в утренние часы непогожего дня усесться на кожаный диван под портретом австрийского

князя Карла Людвиг в зале ожидания второго класса (в первый класс нас не пускали), во вновь построенном великолепном Львовском вокзале. Тут пахло романтикой далёких дорог. По дороге на вокзал следовало обзавестись брошюрками «шерлоков», так мы именовали тогда детективы. Их выменивали у друзей или покупали недорого в антиквариатах отца Бодека, сына Бодека, отца Менкеса, сына Менкеса или отца, сына и внука Иглев. Ах вы, отцы, сыновья, и внуки львовских букинистов, династиями заселявшие чётную сторону улицы Батория. Какой же ужасной смертью пришлось Вам погибнуть в позорные годы уничтожения польских евреев». Кстати, один из упомянутых выше Бодеков – Максимилиан специализировался на торговле букинистической книгой на иностранных языках. Он владел многими европейскими языками и чувствовал себя обиженным, если кто-то выражал сомнение в возможности найти у него сразу же или получить спустя короткое время нужную книгу. С покупателем он заговаривал на языке книги, которую у него запрашивали. Если разговор получался, покупатель получал скидку, даже иногда этого и не заметив. Игнац Менкес и Эфром Менкес владели «Магазином Литераторов», Шимон Готлиб – «Научной книгой». Изобилие имён львовских букинистов поражает. Кроме уже упомянутых, среди них значатся ещё и торговавшая также научной литературой большая династия Хельцлей, и Эрнест Флеккер и Норберт Блауштейн. Список львовских букинистов и на этом не исчерпывается. Конечно, не только евреи занимались книжной торговлей во Львове. Львов в межвоенный период устойчиво держал первенство в Европе по изданию книг на украинском языке. Были открыты и букинистические украинские магазины. Известным пропагандистом книги в предвоенном Львове был владелец букинистического магазина на Академической улице (ныне бульвар Шевченко) инженер-химик поляк Иозеф Тулея.

Когда речь идёт о букинистах, нельзя не упомянуть и Львовских библиофилов.

В 2005 году в Берлине вышел прекрасно иллюстрированный труд Якова Бердичевского «Народ книги». Труд этот посвящён искусству книжного знака – экслибриса. В нём мы находим упоминания и о львовских книголюбях начала XX века и их книжных коллекциях. Согласно автору, известными среди библиофилов были книжные собрания львовян Бронислава и Иосифа Гольдманов. Здесь можно прочесть о выдающемся библиофиле Максимилиане (Мордехае) Гольдштейне, погибшем со всей семьёй в Львовском гетто. Он, вплоть до второй мировой войны, собирал еврейскую старину. В 1934 году им был открыт Еврейский музей при Львовской религиозной общине. Музею была передана вся его коллекция, включая уникальную библиотеку со многими редкостями – от еврейских инкунабул до старинных рукописей. После 1939 года, когда Львов вошёл в состав СССР, еврейский

музей был ликвидирован. Часть его экспонатов была разворована, часть находится и сейчас в Львовских музеях. Эклибрисы для книг Гольдштейна создавал, среди других художников, и знаменитый писатель и художник, уроженец близлежащего Дрогобыча Бруно Шульц, погибший от руки эссовца на одной из улиц родного города в 1942 году.

В 1945 – 1946 годах из Львова массово уезжали поляки. В центре города, сразу за оперным театром располагалась грандиозная «барахолка», именовавшаяся «Краковским базаром». Книжные развалы на этом базаре содержали множество раритетов, правда, большинство из них на польском языке. Спрос явно отставал от предложения. Те, кто оставался жить в городе, в основном были людьми пришлыми и польского не знали.

В наши дни книжный рынок во Львове сосредоточен рядом с полиграфическим институтом, у памятника Ивану Фёдорову. Букинисты, судя по сообщениям местной прессы, ведут борьбу с администрацией города, которая стремится перенести книжный рынок подальше от центра. До уровня, которым славились букинисты довоенного Львова, похоже, пока далеко. И всё же самая большая книжная выставка на Украине ежегодно открывается именно во Львове.

«Рукописи не горят», сказано у Булгакова. Как выяснилось, это лишь часть высказывания средневекового раввина из Испании (имя его утеряно). Он произнёс это, когда на кострах инквизиции горели, зачастую вместе с авторами, манускрипты на иврите. У раввина фраза звучала так: «Рукописи не горят. Горит бумага, а слова с дымом уносятся к Богу». К сожалению, история XX века показала, как могут гореть рукописи и книги, и не только гореть, но и варварски уничтожаться, причём иногда вместе с людьми, которые посвятили свою жизнь служению книге.

Источники:

1. Andrzej Skrzypczak

Z dziejów księgarstwa lwowskiego, Ulica Batorego, Intytut Lwowski, Warszawa, 1992.

2. Mieczysław Opałek

Ze wspomnień bibliofila, Zakład narodowy Ossolińskich, Wrocław, 1960.

3. Józef Wittlin

Mój Lwów, Wydanie Specjalne Tygodnika Przekrój, Warszawa, 1991.

4. Яков Бердичевский,

Народ книги, Алеф, Берлин, 2005.

БОРИС КУНИН

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИРИНЫ ДМИТРЕНКО

(заметки о художнике)

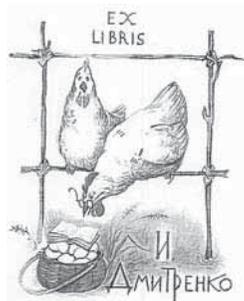
Любознательный и внимательный читатель, закрывая прочитанную книгу, наверняка сохранит в своей памяти не только содержание и имя автора, но и её художественное оформление, и имя его исполнителя – автора всего иллюстративного комплекса. Таким образом, как бы воедино сольются два имени – автора и художника – создателей книги.

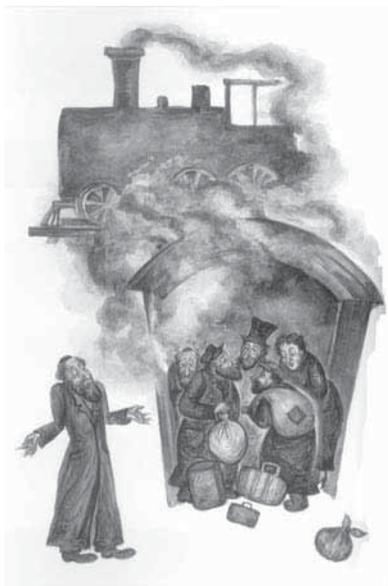
При одном лишь упоминании о книге «Гаргантюа и Пантагрюэль» мы сразу вспоминаем не только Рабле, но и Доре, или о «Робинзоне Крузо» – Дефо и Гранвиль, «Евгении Онегине» – Пушкин и Кузьмин, «Двенадцати» – Блок и Анненков и так далее.

Здесь мы представляем работы молодого, но уже широко и смело заявившего себя художника книги – Ирины Дмитренко.

Она работает в редкой для книжного оформления технике акварельной живописи, выразительной, изысканной и изящной, способной передать тончайшую нюансировку не только цвета, но даже и едва намеченного тона, полутона, лёгкого намёка...

К сожалению, современные полиграфические возможности, способные





передать всю гамму игры цвета, повторить в тиражном издании всю её палитру, весьма и весьма ограничены. Отсюда и крайняя редкость обращения мастеров книги к этой сложной технике.

Всем известно творчество семьи художников Траугот, чьи книги пользуются неизменным успехом, несмотря на то, что выполненные ими сюиты не только далеки от оригиналов – они в большинстве своём их лишь слабо напоминают.

Несколько лет назад московским Домом еврейской книги были изданы стихи Овсея Дриза «Хеломские мудрецы» в оформлении Ирины Дмитренко. Книга сразу стала библиографической редкостью – и это в наше-то время, когда дела и мысли подавляющего большинства «книголюбов» утратили столь привычный и милый титул.

И всё же – как далеки эти иллюстрации от оригиналов, при всём их кажущемся сходстве!

Но зато как свежи и хороши все элементы иллюстративного аккомпанемента в выполненных художницей рукописных книжках на ту же еврейскую тематику – «Лехаим. Из еврейской народной поэзии», «Птице» и «Приюти меня под крылышком» Х.-Н. Бялика, стихотворений еврейских поэтов в переводе Я. Либермана «Я вам открою ужасный секрет», семи книжках «Хасидских притчей» Мартина Бубера и других. Все они выполнены в миниатюрном формате и «изданы» такими же миниатюрными тиражами – от трёх до восьми экземпляров.

Кстати, Ирина Дмитренко – профессиональный художник-миниатюрист.

Обращение к еврейской тематике для творческих замыслов Дмитренко естественно и органично. Она пишет о «Хеломских мудрецах», но строки эти должны быть отнесены ко всей еврейской серии её книг:

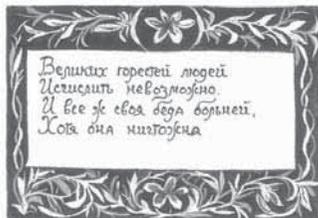
«Иллюстрации к этой замечательной книге я придумывала, вспоминая детство – то волшебное время, когда во всё веришь, и знаешь, что всё сбудется, и чудо обязательно произойдёт. Человечки, живущие на этих страницах, смеются, огорчаются, попадают в самые смешные ситуации. Мне хотелось изобразить их забавными и добрыми. Такими, как старый, добрый Хелом».

Мало того, она прониклась самыми сущностными, самыми потаёнными и, не побоюсь этого слова, эзотерическими глубинами еврейского бытия с множеством только ему одному присущих деталей. Потому-то близки, понятны и родны все эти «человечки», живущие в радости и горе на страницах её неповторимых, искренних и взволнованных книг.

Только что Мастер – а она, как один из немногих, достойна так именоваться, – окончила изумительную книгу «Ханука», в которой с присущим ей талантом, добротой и остроумием показала этот красивый и вечный праздник еврейского народа. Следующей книгой-праздником будет «Пурим».

Какими «массовыми» тиражами они увидят свет предположить трудно, но уж во всяком случае, никак не более всё тех же восьми экземпляров.





Ею оформлено и «издано» немало и других – тематики вовсе не еврейской – миниатюрных книжек. Среди них «Мысли и афоризмы Козьмы Пруткова», «Эпиграммы А.С. Пушкина», стихотворение О.Мандельштама «Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант», «Печальные песенки» А.Вертинского, «Плих и Плюх» В.Буша, книжки Д.Хармса «Вываливающиеся старушки». «Случаи», «Отец и сын» и другие.

Каждая из них искусно и любовно переплетена и являет собой подлинное произведение истинного искусства и высокого мастерства. А потому и вполне понятны восторги посетителей выставок и презентаций – устные и письменные, неколебимое признание самых искушённых и утонченных эстетов, подлинных, Божией милостью, библиофилов, знатоков и ценителей Прекрасной Книги.

От редакции

Мы благодарны Ирине Дмитренко за радость, которой она щедро одарила нас, познакомив с волшебным миром своего искусства.



АЛЕСЬ ЭРОТИЧ

ПОЭМА О «БАБЬЕМ ЛЕТЕ»

*«В жизни мне везло. Почти каждый день
я узнавал или видел что-нибудь новое.
А чем больше знаешь, тем интереснее
и таинственнее делается жизнь...»
(К. Паустовский «Бросок на юг»)*

Плюс двадцать в октябре.
Тихо. Сухо. Солнечно.
Всё вокруг рассмеялось маково-ало.
Плавно летит паутина. Стелется по земле, цепляется за кусты и деревья.
Десант вечного во времени.
Это значит, что Господь послал нам телеграмму радости.
Что наступил конец дождям, которые просачиваются в утренние газеты.
Что можно отправиться на поиски счастливого себя.
Что тяжёлый и шумный мир большого города соприкоснулся с иным миром, и те кто не утратил свежести восприятия природы, смогут погрузиться в оазис радости...

Бабье лето.

Как состояние.
Как ожидание.
Как желание.
Как вызов повседневности.
Десятое «бабье лето» моей жизни в Берлине.
Кто-то невидимый включает кнопку с надписью «Play» и на задворках моего сознания начинает играть «Jehro tull». Бархатная флейта, магический голос Андерссона будут звучать целую неделю.
Романтический брак мечты с действительностью.
Вот опять я заговорил о «бабьем лете», которое поселилось в Кройцберге.

Не нужно больше рисовать на небе солнце.

Теперь главное – настроить все фибры своей души в унисон «бабьему лету».

И тогда можно будет найти тропинку в запредельное, не выходя за границу обыденного.

Засвидетельствовать свою капитуляцию перед богатством и разнообразием жизни.

Я разрушаю трезвое течение прозы, бросаясь в область новых звуков и новых сочетаний красок, невидимых летом, с потерей чувства меры. Желание передать другим своё видение мира бывает настолько сильным, что требование соразмерности отступает.

Что-то зовёт – быстрее из дома!

И я понимаю: это знак, сейчас можно будет обнаружить себя внутри повествования о «бабьем лете».

Это значит, что неказистый, стандартный мир отмеренных будней окончился.

Что на какое-то время переживания потеряют силу, съедятся и уменьшатся, как шагреновая кожа.

«Stop» пакету проблем, наполненному стрессами, finanzamt ами, behordами, mahnungами, steuerами и иной «тоской».

Природа и я, мы даём свой асимметричный ответ на все эти вынужденные ремарки наших будней...

Как там в песне: «А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь...».

Я сажусь на свой старенький велосипед и отправляюсь в путешествие по закоулкам волшебного мира старого Кройцберга, чтобы в очередной раз удивиться непонятной неистребимости природы, бесцельно поболтаться среди городских атавизмов, параллельно осмысливая себя...

Улицы, примыкающие к горе Кройцберг.

Это район для тех, кто умеет ловить нежные и легкие звуки поэтических струн Берлина. Если вы человек, у которого полушария головного мозга дружат между собой, если ваша восьмёрка не распалась на два нуля, если у вас открыты каналы духовного зрения и налажено гармоничное соотношение с ритмом Берлина – значит вам туда...

Я выезжаю из своего логова ранним утром, когда одеяло тумана ещё натянуто до самых шпилей соборов и громоздкая тишина ловит в свой невод тихие звуки утреннего города, подсыхающего от сна.

Утро лежит тихо и свежо. Поначалу оно не отличается от других.

Флаги на ратуше перестали отвешивать оплеухи ветру.

Вялый блин солнца не спеша выбирается из белёсого бульона, сливаемого в реки и каналы.

Холст неба кто-то неспешно заливает голубой акварелью, чтобы затем повесить на него золотой слиток...

И птицы что-то рисуют на нём крыльями.

В воздухе висит паутина, она связывает тонкой нитью вчера и сегодня, и ты понимаешь, что Кройцберг открыт вечности, но не времени и что в его гобелене переплелись прошлое, будущее и настоящее.

Время это ощутимо, весомо, зримо, надёжно.

Оно расположено в пространстве памяти.

В Кройцберге всем достаётся по кусочку времени, которое как мысль, работает незаметно. Когда я вижу мигающие лики времени, хочется выдержать какой-нибудь из них и повесить его у себя дома в рамке.

У природы нет границ.

Она впускает под свой полог всех и не ставит шлагбаумы, как это делают люди, не допускающие в свой мир других людей.

Каждому городу присуще своё биополе.

В чём его природа – мне неизвестно. Но знаю, что умею находить контакт с ним.

Каждый раз открываю Кройцберг заново, подобно диковинной раковине, которую невод принёс с большой глубины.

Я называю его улицы, площади и соборы по именам.

Даже деревья называю каждое по имени...

* * *

В Берлине много не менее известных и прекрасных мест.

Чего стоит Альштадт Шпандау, в узких улицах которого затерялась вечность.

Кого не прельщала изысканность Виктории Плац, и кто не ощущал дыхание гулких столетий Николайфиртеля...

А каково затеряться на лодке на просторах Мюгельзее, чтобы влететь затем в лабиринт каналов Новой Венеции.

Чего стоит один Шпительмаркт с его шхунами, уснувшими навечно у старинных причалов.

И что может противостоять роскоши кварталов, нанизанных на стебель Кудамма.

А удовольствие поблуждать по закоулкам Хакешес Хофен...

Но только Кройцберг – это место, которое задевает чувствительные струны моей души, только здесь произрастают обольстительные фантазии, миражи эпохи, образующие дымку прошлого...

Почему люблю Кройцберг – не знаю.

Может быть за то, что его улицы и площади ревностно хранят свои загадки и не спешат их отдавать. Может быть оттого, что с его биополем у меня есть контакт.

Это необъяснимо.

Любовь, которую можно объяснить – это уже не любовь, а расчёт.

И почему любовь к городу может быть так полна и не мучительна? Попробовать бы перенести эту любовь в сферу человеческих отношений...

Я представлял себе Берлин менее интересным, чем он оказался.

Я влюблён в душу этого города, и она отвечает мне тем же.

Когда я приехал сюда, знал только одну достопримечательность – Рейхстаг и то лишь потому, что его штурмовали русские.

Теперь я знаю их множество.

Не самообман ли это?

Отнюдь. Я знаю немцев, живущих в России, влюблённых в Ленинград и Москву.

Я знаю, что в России живёт поэт, влюблённый в Берлин, хотя он ни разу здесь не был.

* * *

Гора Кройцберг.

Пахнет тишиной, облака качаются на ветвях деревьев.

Здесь не ощущается действие портняжных ножниц истории.

Здесь понимаешь, что ты оказался где-то между прошлым и будущим.

Надо уметь почувствовать особую энергетику горы, буквально завораживающую тебя с первых нот.

Когда смотришь с неё на Берлин, кажется, что ты большой ребёнок, а всё вокруг – макеты детских игрушек. словно кто-то поворотом ключа запустил размеренную игрушечную жизнь.

Вагончики метро спешат из пункта А в пункт Б и обратно.

Человечки видятся в немецких колпаках, в полосатых чулках и с фарфоровыми трубками в зубах.

Кажется, что и сама вселенная приводится в действие заводным ключом.

Здесь не пульсирует сердце большого города, его гулкие удары не доходят сюда.

Не слышно «рэйва» полицейских сирен.

Берлин как на ладони.

Место, где вы ощущаете, как далеко забрались в историю.

Куда ни кинешь взгляд, всюду крыши, рой крыш со своими гребнями, перекатами, хребтами, бородавками и волдырями.

Колокола уже сплюнули клубок аморфных колыханий набата, и даже вездесущий «си минор» скорой помощи не долетает сюда.

Гора рождает все ноты тишины.

Ощущение, что не ты смотришь на город, а город на тебя.

Повсюду стоят дома в красивых кружевных платьях, сохраняя под вуалью воздух чистых девичьих побед и никогда не обманывающих мечтаний.

Вплетённые в ткань времени шпили соборов и церквей тонут в дымке, оставляя ощущение фантома.

Мир художников Генриха Цилле и Отто Нагеля.

Первая мысль: как неправдоподобно красиво.

Вторая догоняет первую – это подарок.

Здесь я хочу попытаться обойтись без своего главного оружия – метафоры, переводящей вещь в слово, а слово – в символ. Метафора создаёт условия для прыжка вглубь – и замолкает, доведя тебя до входа, туда, куда можно проникнуть лишь в одиночку.

Стою возле памятника победы над Наполеоном – чудом ваяния Шинкеля.

Внизу грохочет по камням водопад, прорезая лесную чашу. Здесь многое напоминает театральную декорацию.

Прах веков на остатке крепостной стены ревниво хранит свои загадки.

Здесь часто грохотали пушки. Сменяя друг друга, стояли австрийские, шведские, французские и русские артиллеристы.

Но сегодня я не описываю историю горы, это «lange Geschichte», как говорят немцы.

Лучше бросить свой велосипед вниз с крутого склона, мимо пропасти, пропахшей грибной прелью, сквозь туннель из огромных чёрных елей, где редкие лучи солнца, пробившись сквозь сети ветвей, скользят в туманном воздухе по замше каменной стены...

Вспоминается Феллини: «Никакая, самая изошрённая, техника светопередачи не сможет сказать больше, чем луч света, пробивающийся сквозь листву».

И пруды под горой, и изумрудный луг покрыла опавшая листва...

Весь Кройцберг затоплен этим омлетом, и старые камни мостовой, и площади, и парки, и каналы... и только флотилия белоснежных кораблей неподвластна ему.

Велосипед несёт меня сквозь тихую аллею... кадмий сверху и снизу, угольные тела деревьев застыли в летаргическом сне, как солдаты на параде...

Атмосфера сновидений.

Густой, как дикий мёд, тягучий воздух.

Внезапно – журавлиный крик. Стая величаво и плавно пронесется и исчезает в синих волнах ясного неба.

Осень предлагает свою палитру цветов: охра, кармин, пурпур, багрянец, бирюза, кадмий в своём умопомрачительном сочетании. Они приходят на смену надоевшей за лето блеклой зелени.

Что дальше?

А дальше Кройцберг размножает меня по своим улицам, площадям, каналам.

Миновав замки и помпезные старые здания со следами заносчивости имперского Берлина, мой велосипед выносит меня на Бергманнштрассе - это ковчег для художников, поэтов, музыкантов, писателей.

Это Монмартр Берлина, где есть узкие горбатые, мошённые булыжником, улочки, своя Сакре-Кёр, галереи, ателье, мастерские художников, театры и кабаре.

Это место, где жизнь застыла, не потревожив тонкой пыльцы времени.

Здесь нет вавилонского столпотворения народов, как на Котбуссер Тор, где каждая встреченная пара говорит другим языком.

Это уже не тот злочно-багдадский Кройцберг.

Этот свой уголок город не отдаёт современности, здесь он прячет влюблённость в свою юность...

Здесь можно заблудиться в бесконечных туннелях, заросших плющом, проходных дворах, убаюканных тишиной. Возле старинной круглой башни на Федицинштрассе забрести во дворик художников, уставленный скульптурой и горшками с экзотической флорой, где на стене огромными буквами выведено: «Мы и лягушки нуждаемся в свежем воздухе».

Здесь полированные столетиями камни мостовых усыпаны гремющей жемчужной листвой. Ещё шаг и попадаешь в тихие каменные дворики, образующие анфиладу, где время распределено по разным эпохам...лысый булыжник, голубой квадрат неба, врезанный между крыш, золотистое марево солнца...

Бергманнштрассе – стержень этой жизни. В настоящей испанской «бодэге» настоящие испанские крестьяне будут перебирать струны гитары, а вам подадут пять сортов «Сангрии» и настоящую паэлью...

Уютные полуподвальные кофейни, размером с комнату, где собирается андеграунд, где девушки, восходящие босиком по ступеням испытаний, воспроизводят первую главу предсказанного судьбой романа...

Шеренги жмущихся друг к другу домов с опереточными балконами и лепниной на них, перегрызаемые иногда пастью перекрёстков. Стиль эпохи грюндерства, позднего классицизма, характер которого определил Карл Фридрих Шинкель. Дома эти обижаются на звуки рока и техномузыки, раздражающие их, воспитанный XIX веком, слух. Грустят, когда вместо гусар,

статских советников и дам в кринолинах, из них выходят парни в рваных джинсах с ирокезами на головах и татуированные девицы с пирсингом...

На этих улицах всюду слышится чугунный шаг времени.

Здесь чувствуешь, как шагаешь по кольцу Мёбиуса, ведущему из одного мира в другой.

Ржавеют старинные фонари, эти огромные одуванчики, пытающиеся взлететь, оторваться от земли.

Живые фрагменты прошлого – литые водоколонки, в которых сохранилось патриархальное достоинство исчерпавшей своё назначение вещи. Их вещество живёт отдельной жизнью от города... Один шаг и вы попадаете в эпоху кайзера Вильгельма II, ещё шаг – в эпоху Бисмарка.

Но не старина освобождает от времени.

Сама природа и есть время, во всяком случае его слепок. Когда мы уподобляемся флоре, ничего не происходит, но всё меняется.

Время, как мысль, работает незаметно и безостановочно...

Здесь на маленьком блошином рынке, приткнувшемся у фонтана на Мархайникеплац, где вяленая листва пахнет азовской воблой, можно купить кусочек счастья в разлив.

Эта площадь сразу же берёт в плен своеобразием.

Сюда приходят, чтобы посмотреть, что продают и на тех, кто продаёт, сменить свободу передвижения в пространстве на свободу передвижения во времени.

Глядя на некоторые типажи, думаешь, что они остались здесь заложниками со времён Карла Великого и Барбароссы.

Среди них вы встретите персонажей, толпящихся за кулисами, но требующих выхода на авансцену, чтобы сыграть судьбу на «бис»...

Медленно опадают листья на оранжевые, зелёные, белые и даже чёрные тыквы, уснувшие в плетёных корзинах. Я советую вам купить букет поздней иранской сирени, где в каждой чашечке скрывается маленькая капля холодной влаги, пряной на вкус...

Золотой крест Пассионскирхе царапает бирюзовую парусину неба.

Церковь эта, как резная шкатулка, из палисандрового дерева, прекрасна и снаружи и изнутри. К ней прилепилось маленькое чудо – белый домик в пять этажей, по одному окошку на этаже. Он не шире размаха рук высокого человека...

Далее, как и в Париже, идёт скопище балконов с изумительной лепниной и коваными решётками, «гранитные надбровья», как называла их жившая здесь Марина Цветаева.

Здесь всякие там *osteria*, *pizzeria*, *kaffeteria*, *vineria*, *trattoria* наполняются

художниками, поэтами и музыкантами и просто «лебенскюнстлерами», как они сами себя называют, рефлексирующими на всё интеллигентами...

Здесь, сидя за уютным столиком итальянской «vineria» с бокалом вина под названием «бабье лето», понимаешь, что жизнь состоит из многоцветья прекрасных моментов и нужно просто уметь наслаждаться ими...

К вечеру я заканчиваю свой маршрут на турецком рынке, расположившемся вдоль древнего канала под кронами платанов... Но о турках в следующий раз...

Я прихожу сюда, чтобы послушать Хосе, поющего в окружении толпы на маленькой площадке на берегу, где столетние ивы полощут свои длинные волосы в тёмной воде.

Вспомнить Барселону, Гауди, Ла Рамбла, Ллорет де Мар, бронзовые скалы, чёрные головы утёсов, одетые в белую пену волн, горы, легко перетекающие одна в одну и покрытые каталонской мозаикой олеандров, голубые кактусы нависшие над бирюзовым морем...

Он мал, худощав и некрасив, этот испанец с большими проплешинами на голове. Жидкая бородёнка делает его похожим на Че Гевару.

Он всегда босиком, как выходец из иррационального мира...

Но когда он исполняет «Фламенко» своим тембром, ломким как клёкот орла и в слове «гитара» делает пять «р» за одну секунду, всё внутри переворачивается и я вижу, как срываются мгновения жизни и уносятся ввысь...

И даже птицы не высказывают свои критические суждения.

Вокруг снуют трёхлетние белоголовые крепыши в красивых шейных платках, шлёпаются на неумело расставленные ручки в ковёр из жёлтых листьев и не плачут...

А их матери с подсевшей энергетикой тоже сидят вокруг, уставившись в одну точку. Не научившись плыть по жизни женщины с неброскими следами алкоголизма на лице, так похожими на следы мужества. Расслабляются, блуждая по лабиринтам своего внутреннего мира...

Опускаясь, солнце вытягивает огненной плетью поверхность воды, над которой в дымке парят древние соборы... Последний луч солнца, падая на землю, показывает её совсем в ином виде, чем днём. Всё становится более выпуклым и весомым. Краски приобретают густоту, дальний план уходит в бесконечную прозрачность. Вечер, подёрнутый лиловым налётом, приносит на своих крыльях тишину.

Редко кому повезёт увидеть «зелёный» луч солнца на закате. Я видел его дважды.

Меня научил этому Клод Моне.

Как дважды видел «сражение» на Варшавском мосту между Кройцбергом и Фридрихсхайном, чего не видел никто из русских...

Хочется не отпускать этот день, вцепиться в него зубами и всеми фибрами души...

Опрокинув пару рюмок «Ramazotti», колесить до упаду по пустынной Шамиссо Плац, над которой нежно разлила своё серебро луна, вяжущая из мыслей причудливые петли.

Бороздить колёсами сугробы шелестящей листвы.

Потом бросить велосипед где попало и делать только то, что хотят твои ноги, реализоваться в поэтике и эстетике абсурда.

Например, смешаться с толпой туристов, говорящих на языке Рамазотти, и бесцельно бродить по блестящим черепашим спинам горбатых улочек...

Искать то ли тень самого Шамиссо, то ли его друга, сказочника с мятущейся душой Э.Т.А. Гофмана, который умел превращать реальность в поэтический сон... Заглядывать то в старинный туалет - восьмиугольник на углу (место встреч швулей), то в кафе, в окне которого изображён Навуходоносор в паре с Че Геварой.

При свете трепещущих факелов вдыхать звуки классической гитары...

И всё это вписывается в ткань повествования о «бабьем лете».

Прошлое – объект экспансии настоящего, и туристы – авангард его армии.

Их взыскательная любовь просеивает века.

А люди, не замечая этого, проносятся мимо в своих жестяных гробах...

Они живут в бешеном темпе, постоянно спешат за чем-то и к чему-то, не замечая того, что получили, что составляет их настоящую жизнь.

Кто знает, Берлин, может быть и я твоя частица и смогу реализоваться в эстетике твоего огромного бытия...

На такой ноте хорошо бы закончить эту искромётную релаксацию.

Каждый раз, когда уходит «бабье лето», кажется, что уходит частица меня самого.

Потом будет всё опять, – новый труд, новые встречи, беды и удачи.

Коротко оно, но вместо прощай – до новой встречи!

И я бросаю монетку в канал...

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

(из автобиографических записок «Мой взгляд за черту неоседлости»)

«ТАК СВЕРШИЛИСЬ СТО ЛЕТ ТЕЛЬ-АВИВА»

«Нет ни русской, ни еврейской, ни английской, ни турецкой, ни иной какой-либо земли. Вся земля Господня ...И право на тот или иной кусок ... земли даёт то, сделала ли нация кусок Господней земли плодотворным... или... гноит нация пространства Господни, попавшие к ней в руки. Жестоко спросит Господь с такой нации за Имущество Своё. Но воздаст Господь нации, хранящей Имущество Господне»

Фридриха Горенштейна «Псалом»

Весной, а точнее, в воскресенье 11 апреля 1909 года на пустынном восточном берегу Средиземного моря проводилась жеребьёвка ракушками – какой кому достанется участок земли.

Сто пятьдесят евреев на своих запряжённых лошадьми повозках, то и дело увязающих в песке, собрались в трёх километрах от древнего Яффо. Ранним утром Акива Арие Вайсс собрал на морском берегу по шестьдесят белых и коричневых раковин. Он надписал чёрными чернилами на белых раковинах имена претендентов, а на коричневых – номера земельных участков. Затем начертил на песке план шестидесяти равных по величине участков, снабдив их номерами.

Мальчик и девочка вынимали из корзины одновременно одну белую и одну коричневую ракушку. Так, по случайному выбору, определялась принадлежность каждого из участков. Не мне судить, скрывался ли за выбором только случай, или, быть может, подлинный Владелец земли, но получилось всё удачно – начал строиться и быстро расти овеваемый свежим морским воздухом город Тель-Авив. Так начинался для этого города век его молодости в новые времена.

ВЕК МОЛОДОСТИ

Где века проходили сонливо,
древний холм тосковал сиротливо,
и волна набегала лениво,
на песке оставляя извивы –
пусто было там без Тель-Авива.

Там однажды, пустыне на диво,
люди собрались гурьбой говорливой,
чтобы жребий решил справедливый,
как построить им город счастливый –
пусто было им без Тель-Авива.

Это так же, как в любимом мною празднике Пурим – вроде бы, не упоминается Бог в библейской книге «Эстер» и люди, бросая жребий – «пур», сами определяли ход событий, а вот всё так искусно сложилось в те древние времена в пользу евреев, что они до сих пор каждый год вовсю радуются и веселятся. К слову сказать, уже в 1913 году по городу прошло первое костюмированное шествие жителей, отмечающих Пурим. Было где развернуться – это вам не узкие, грязные, душные переулки старого Яффо, откуда вырвались зачинатели Тель-Авива.

Нынче и переулки Яффо преобразились. Если смотреть со стороны гавани, то на заднем плане, на холме можно увидеть бывший старый город. Поднимаясь к нему, попадаешь в обновлённый квартал, где каждое строение, сохраняя старинные черты, любовно отделано и превращено в удобные дома с мастерскими художников, с галереями. Времени у туристов мало, но хотя бы в один только дом войти, например, в галерею Франка Майслера. Я вошла, а вот уходить не хотела. Населяют её такие искусные работы из металла, что каждую можно по часу рассматривать. Я буквально «приросла» к «Скрипачу», пока не увидела «Контрабас». Гриф его слился с головой и плечом музыканта, кисть руки которого сжимает смычок. Между плечом и кистью нет ничего, кроме воздуха, а кажется, что это – единая, живая рука, с виртуозной лёгкостью исполняющая клезмерскую мелодию...

Кстати, о мелодиях. В молодом Тель-Авиве общественная и культурная жизнь концентрировалась вокруг гимназии «Герция». В ней преподавал музыку уроженец Бесарабии Ханина Бен Ицхак Карчевский. Певец, музыкант, дирижёр, умер, не дожив до сорока, но гимназия издала сборник всех его песен «Мелодии Ханины». До сих пор поют в Израиле его песни, хранящие российско-еврейский стиль...

Израиль и Россия – две стороны исторически особого «еврейского

треугольника». Германия – третья его сторона. Многое накрепко спаяно в этом треугольнике. Вот и в Тель-Авиве архитекторы-иммигранты из Германии, обученные там в Академии искусств и дизайна «Баухаус», возводили строения в своём модернистском стиле. В окраске домов преобладал белый цвет, и эту застройку стали называть «Белым Городом».

«Тель-Авив» в переводе – «Холм весны». Действительно, по-особому выглядит город весной, когда радуют глаз экзотические цветы, а голубизна неба сливается с бирюзой Средиземного моря. Золотой его берег – километры песчаных пляжей...

Город рос, объединился с Яффо, включил в себя Холон, Бат-Ям, Рамат-Ган, Бней-Брак, Гиваттаим... Это – «Город без перерыва», и жизнь в нём бурлит беспрерывно.

Так, рождённый мечтой горделивой,
дом за домом, трудом терпеливым
воздвигался там город красивый –
чистый, белый и «без перерыва» –
пусто было бы без Тель-Авива.

Дети в нём веселы и шумливы,
и цветы по весне прихотливы,
и заботами рук хлопотливых
плодоносны в предместьях оливы –
так свершились сто лет Тель-Авива.

Довелось мне, пусть коротко, своими глазами увидеть «Холм весны». И думалось, что на этом, уже сделанном плодотворным, «куске земли» не только хранят, но и приумножают «Имущество Господне». И воздаёт за это Господь живущей здесь древней нации, возрождая её молодость. Недаром средний возраст трёхсот шестидесятитысячного населения города – тридцать четыре года, и каждый день рождаются двадцать новых «тель-авивян». Да не будет судьба гневлива к мирным жителям Тель-Авива!

МИХАИЛ ГОРДИН

ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУДЯТ

«Мир – это постоянный заговор против смелого»
Генерал Макартур.

5 октября, 1973-й год. Канун Судного Дня. Ариэль Шарон выходит из своего бюро в Тель-Авиве. Через несколько часов замрёт всё движение на дорогах, а ему ещё надо добраться домой, в Негев.

В последнее время мелькали сообщения о военных учениях Египта и Сирии. Шарон уже не в армии, и никто не положит ему на стол сводку настоящих известий. Приходится довольствоваться информацией из газет. Но там всё только о готовящихся терактах за границей. Ну конечно! Ведь сам министр обороны Моше Даян уверен, что после разгрома в 1967-м арабские страны не осмелятся начать войну. Обратиться с запросом в генштаб Шарон не может. Начальник генштаба теперь Дадо (Давид Элазар), а отношения с ним – хуже некуда. Надо обязательно заехать в свою часть, там должны быть свежие аэрофотосъёмки. (Шарон после отставки – командир дивизии резервистов.)

Стычка с Дадо произошла семь лет назад, перед «Шестидневной Войной». Шарон отбил тогда попытки сирийцев отвести воду от Кинерета и взялся за артиллерийские батареи, стрелявшие с Голанских высот. Дадо назначили тогда в Северный Округ над Шароном. Он с первого дня показал «кто в доме хозяин» – придирался, отменял операции, фактически отстранил Шарона от дел. Шарон в ярости хлопнул дверью и два месяца сидел дома, ожидая отставки. Дадо знал – поддержка генштаба ему обеспечена. Тогда вмешался сам «Старик» (прозвище Бен-Гуриона). Он хоть был уже не у власти, но его авторитета ещё хватало. Бен-Гурион вызвал к себе в кибуц нового начальника генштаба, Ицхака Рабина и попросил: «Не дай им съесть Арика!». Рабин вернул Шарона в учебный отдел, дал дивизию на случай мобилизации.

Дадо с делами явно не справлялся – артобстрелы на Севере только уси-

ливались. Но вскоре началась война, сирийцев выбили из Голан, и всё забылось. Недавно Даян протасил Дадо в начальники генштаба, у Шарона перед самым носом. Дадо – исполнительный офицер, умеет ладить с начальством. Как раз то, что нужно Даяну. Зачем терпеть рядом строптивного Шарона, с его собственным мнением по каждому вопросу? Нет, Шарона не уволили. Срок службы не был продлён по причине возраста. «В 44 года» нечего делать в армии.

Тренинги с коллегами начались давно, ещё в 53-м. Тогда двадцатипятилетний Арик Шейнерман создал спецотряд для борьбы с террором. Как-то он переусердствовал – поднялся большой шум за границей. Бен-Гуриону пришлось оправдываться по радио, врать. Чтобы отвести удар от себя, Даян привёл на расправу Арика и... Бен-Гурион «влюбился» в решительного молодого офицера, полного идей и планов. Как-будто свежим ветром повеяло в кабинете после первых же его слов. Гнев главы правительства таял на глазах. Арик не оправдывался. Да, много жителей деревни погибло, но не было времени разбираться. Зато все наши вернулись без царапинки – это важнее. Арик не требовал дорогого оружия, не просил увеличения штатов. С арабами он справляется и так. Сила не в числе. В его отряде работают над новыми методами ведения боя. Противника нужно раздавить морально. Это – главное. Потом дострелять – это уже легко.

Встреча, запланированная на десять минут, затянулась допоздна. Почему бы Шейнерману не поменять имя? Шарон – звучит коротко, сильно. Глава правительства отменял заседания, не подходил к телефону. Он, как зачарованный, слушал Арика – наконец перед ним человек, который видит цели, а не препятствия. «Моя дверь открыта для тебя в любое время» – сказал Бен-Гурион, завершая беседу. Даян попрощался с Ариком без обычной улыбки – «дверь к Бен-Гуриону» ему не хотелось делить ни с кем.

Шарон со своими десантниками совершал дерзкие набеги, уничтожал базы террористов в Газе и в Иордании. Его имя обрастало легендами. На встречи с военными Бен-Гурион приходил с Шароном, и молодой подполковник представлял главе правительства генералов, входящих в зал заседаний. Такое не могло пройти безнаказанным. «Выскачка», «пролез к старику» – шипели недовольные. Даян с пониманием выслушивал их жалобы. Долго пришлось им терпеть, и они его подловили. В «Синайской Войне», в 56-м, Арик вынудил командование округа дать ему разрешение на захват перевала Миттле. Для этого он загнал между склонами разведгруппу, которую можно было вызволить только «расчистив» весь перевал. Бен-Гурион, напряжённый всей ситуацией как натянутая струна, взорвался.

Но взятие Миттле повлекло за собой развал египетского фронта в Синае, и на требования генералитета наказать Арика за «самоуправство», глава правительства только разводил руками – победителей не судят, а награждают.

Шарон в 28 лет стал самым молодым полковником в истории страны. Генштаб направил его в почётную командировку в английскую военную академию. Только теперь он понимает, что его просто «отфутболили на чердак». Год провёл он за границей, и за это время удалось внушить Бен-Гуриону, что Арик, конечно, победитель, но он преступил границы дозволенного и пора «для его же пользы» преподнести ему хороший урок – пусть послужит в учебном отделе. Начальствовать генштабом приходили генералы, которых Шарон представлял Бен-Гуриону. «Урок» затянулся на долгие годы. Многие из сверстников обогнали его в должностях и званиях.

Даян – хитрый лис. Он спокойненько вкладывал в свой карман достижения Шарона. Тогда, в 56-м – взятие Миттле было для него сущим подарком. Даян был начальником генштаба, он отвечал за всё. Шутка ли сказать, три дня – и полный разгром египетской армии! С тех пор и пошло – «Даян – великий полководец». Как же хитро он всё перевернул! «Превышение полномочий!» Да никто и мечтать не смел о захвате перевала! Крутые гранитные скалы, обсиженные египетской пехотой, как пчёлами. Потому и не давали разрешения на штурм. Но Шарон сам готовил десантников, и знал, что они справятся.

Шарон не слишком зол на Даяна. Бывали времена, когда они неплохо уживались. Даян один из немногих, кто понимает в деле. Просто ему не хотелось подвинуться и уступить титул «главного победителя». Но его подпевалы – сами умеют только исполнять чужие замыслы. Потому и бесятся.

Ещё час – и он у себя на ферме. По несколько раз в день он звонит домой, интересуется каждой мелочью. В душе он – крестьянин, как и его отец. Тот годами бился над своими мандаринами, пока не приспособил их к краснозёму. Трудно было в одиночку, но он своего добился – теперь мандарины выращивает вся страна. Наверное, от отца Шарон унаследовал своё упрямство.

Даян не раз говорил, что нужно уметь не только побеждать врагов, но и «жить со своими». Намерение Даяна ясно – не спорь с начальством, не иди против большинства! Но как не спорить, если ошибки начальства приведут к бессмысленным жертвам, как например, в случае с «Линией Бар-Лева». После «Шестидневной Войны» генштаб, при поддержке Даяна, предложил насыпать высоченный вал вдоль Суэцкого канала и укрепить его серией из 33-х врытых в землю бетонных бункеров. Шарон оказался единственным, кто возразил. Ладно, если бы это было его мнение, но ведь ещё Роммель категорически высказался против создания укрепленных позиций в пустыне. Роммель доказал свою правоту на деле.

«Канал – не пустыня» – ответили ему тогда – «бункера не укрепления, а защищённые наблюдательные пункты». Но Шарон не успокаивался. Бар-Лев натравил на него генштаб, его перестали вызывать на заседания гене-

ралитета, чуть не дошло до отставки. Даян, как всегда, издалика дёргал ниточки. Правильно ли он поступил? Возражать против монструозного вала, который носит имя главнокомандующего? Руки Шарона спокойно держат руль. Он вглядывается в опустевшую дорогу. Да! Он поступил правильно. И никакие карьерные соображения не заставят его молчать и впредь. Он знает, сколько солдат, «прикованных» к валу, погибло от артиллерии египтян. Он воевал там, на Юге, и видел всё своими глазами. Наши части нужно было держать в глубине, и выводить к каналу только по мере надобности.

В глубине души Шарон знает про свой «талант» сердить коллег, знает, что ему, порой, не хватает такта. Когда же он научится терпеливо выслушивать банальные мнения, высказанные с важным видом? Иногда он ощущает себя зрячим среди слепых, вскипает, когда слышит явные глупости. Вся страна гордится Линией Бар-Лева, этой стеной из песка. Бункера, разнесённые вдоль всей границы! Какая надёжная защита! Но в войне это не защита – это западня! В пустыне нет препятствий для продвижения танков. Можно выбрать любое направление для атаки. Сколько раз англичане наступали на эти грабли! Роммель поодиночке уничтожил их укрепления, разбросанные по линии обороны. Подразделения в соседних «коробках» не успевали прийти на помощь соседям. Вместе – сила, порознь – слабость. Ведь все изучали кампанию Роммеля в школе для командиров! И что, поняли? «Канал – не пустыня!». А что же это?

В 69-м правительство заставило военных отдать Шарону Южный Округ. Артиллерийская дуэль вдоль канала – «Война на Источение» тянулась уже два года. Шарон резанул египтян кинжальными рейдами в глубокий тыл. Вывел из строя Ассуанскую плотину, взорвал нильские мосты, разрушил систему ПВО, выкрал новейшую радарную станцию со всеми её секретами. Египтяне запросили перемирия. Шарон применил хирургический инструмент – десантников. Громоздкая Линия Бар-Лева с её артиллерией и бункерами оказалась не нужной.

Всего лишь день он может провести с семьёй. Потом опять переговоры, бесконечные споры, и так – до самых выборов. И обязательно, напоминает он себе, нужно заехать в свою дивизию – только там он увидит, что за страные «учения» затевают арабы. Мысль об этом всё больше беспокоит Шарона.

В «дивизии» пусто. Все разъехались на праздник. Несколько дежурных, которым выпало остаться в части, мирно коротают время. Они с удивлением смотрят на своего командира, свалившегося, как снег на голову. Шарон просит принести последние аэрофотоснимки, раскладывает их на столе, вглядывается, криком вызывает перепуганную дежурную и приказывает объявить мобилизацию дивизии. Сомнений нет – это война.

Война началась назавтра, в середине дня. Сирийские танки ворвались на Голанское Плато, а египтяне, размыв мощными брандспойтами песчаный

вал, в трёх местах начали переправу через Суэцкий канал. Две бригады неполного (из-за отпусков) состава (1000 человек и 90 танков) пытались помешать, но были отброшены с большими потерями. Египтяне применили новое оружие – наплечные ракеты против танков. Отчаянное положение создалось в окружённых бункерах Линии Бар-Лева – их гарнизоны оказались запертыми, спасти их так и не удалось.

«Ни один полководец не может быть оправдан за нанесение лобовых ударов по противнику, прочно удерживающему свои позиции».

Безил Лиддал-Гарт

7-е октября, второй день войны. Первые подразделения резервистов собираются у назначенных мест в Синае. Шарон немедленно организует разведку. Один из отрядов беспрепятственно доходит до канала. Шарон считает, что нащупал место стыка между армиями противника. (Его предположение вскоре подтвердит воздушная разведка.) Когда собралось около сотни танков из его дивизии, Шарон просит разрешения переправиться на другой берег и атаковать, не теряя времени. Шмуэль Гонен, заменивший его на посту командующего Южным Округом, взрывается. Не выбирая выражений, криком объясняет, что фронтом теперь командует он и, если Шарон не хочет отправиться «домой», ему придётся оставить свои «штучки» и выполнять его указания. Горстка танков – это всё, что есть между Тель-Авивом и египтянами. Будем атаковать, как и положено, на этом берегу, когда подойдут ещё силы из глубины. Гонен даже не хотел вникать в соображения Шарона: превосходящие силы противника бесперспективно штурмовать «в лоб». Нужно действовать там, где противник не ожидает и не готов к обороне. Удар с тыла нарушит коммуникации египтян, спутает их планы, лишит наступательного порыва.

Когда Шарон командовал на Юге, он выбрал вдоль канала несколько мест и подготовил их для наведения мостов. Колеги иронизировали тогда: «Арик хочет захватить Египет». Но сейчас эти «заготовки» очень и очень пригодятся. Одна из них расположена в месте стыка, обнаруженного разведкой. Внимание Шарона приковано к этой точке. Если генштаб не верит в возможность переправы, то египтяне и подавно. Поэтому и нужно бить там, на другой стороне.

Гонен, с одобрения генштаба, предпринимает массивные танковые атаки на египетские позиции, как в «Шестидневной Войне». Но ситуация на этот раз другая. У авиации нет «чистого неба» и не создана угроза коммуникациям противника. Египтяне прочно держат оборону в Синайских горах. Израильские войска несут большие потери.

Шарон неоднократно предлагает осуществить прорыв на Западный берег, в тыл противнику. Но в генштабе «созревают» медленно – операцию следует основательно подготовить. Нужны понтоны для наведения моста. Для их доставки требуется время. Как подвезти понтоны к воде через местность, простреливаемую противником?

Газеты неоднократно повторяют подробности разговора между Гоненом и Шароном по радиии. Гонен кричит: «Где ты? Почему тебя нет на связи?» Шарон докладывает, что преследовал противника, прорвался к каналу в месте предполагаемого стыка, разрезал египтян на две части. Гонен возмущается – почему не как все, почему преследовал, почему дивизия не там, где ей положено находиться по плану, и, что вообще Шарон опять затевает. За этим следует часто впоследствии цитируемый ответ: «Отрежь свои яйца и засунь их в трубку, я не выхожу с тобой больше на связь!». Шарон действительно занят, и не может сидеть около радиостанции. Он готовит переход на Западный Берег.

Ночь на 16-е октября. На пароме до рассвета успевает переправиться несколько сот пехотинцев и семь танков. Полная тишина. Шарон побывал на другой стороне, всё увидел своими глазами. В месте высадки противник не обнаружен. Он докладывает об этом наверх, и... получает приказ больше ничего не предпринимать, оставаться на Восточном Берегу «для обеспечения переправы». На место спешно вылетают министр обороны Даян и начальник генштаба Элазар!!! К ним присоединяется командующий Южным Фронтом Гонен. Они уже поняли, что здесь происходят решающие события.

Все трое позировали фотографу возле парома, на котором ночью переправился передовой отряд, и совещались. Если Арик это сделает, он станет «царём Израиля». Такого нельзя допустить, этот «выскачка» не должен опять «украсть» у них победу для себя одного. Решено, что переходить будет дивизия генерала Адана. Но Шарон здесь, а Адан завяз в затяжных боях и не может прорваться к мосту.

Время бежит. Египтяне обнаруживают плацдарм, привлекают авиацию, лихорадочно наращивают свои силы, подтягивая танки и артиллерию. Легко вооружённый израильский авангард ведёт неравный бой, из последних сил цепляясь за каждый клочок земли. Гибнут люди. Плацдарм под угрозой уничтожения. Подкреплений нет. Шарон бесится – послать помощь на тот берег ему запрещено. «Вельможная тройка» не отходит от моста, обойти их приказ он не может.

Осталось невыясненным, как обо всём узнали в Тель-Авиве. Но известно, что Голда Меир связалась с Даяном и объяснила, что с ним делает, если он загубит всё дело. Шарон получил разрешение действовать. Прошло 11 бесконечно долгих часов после высадки десанта. Переправляться пришлось

под сильным огнём. Египтяне успели зажать плацдарм в плотное кольцо, прорвать которое удалось только на второй день, после тяжёлых боёв. Канал стал преградой в тылу египтян. Израильские танки уничтожили локальные станции и ракетные установки на Западном берегу. Авиация получила свободу действий.

Египетские войска отрезаны от своих баз! Полное окружение Третьей Армии! Путь на Каир открыт! Победа! Народному ликованию нет предела. На улицах скандируют: «Арик – царь Израиля». Скоро выборы. Так продолжаться дальше не может – и в газетах стали появляться удивительные подробности о боях на Юге – Арик постоянно возражал командованию, спорил по всякому поводу, нарушал приказы(!). И, вообще, во всей этой войне нужно как следует разобраться. Создаётся полномочная государственная комиссия под руководством верховного судьи Шимона Аграната. Общественность в Израиле с нетерпением ждёт решения. Но комиссия работает обстоятельно, вникая в мельчайшие подробности. Вокруг Шарона возникает атмосфера недоверия и отчуждённости. А вдруг его признают виновным...

Проходят выборы. Правящая партия, хоть и с минимальным перевесом, побеждает. Через несколько месяцев, когда страсти успели затихнуть, комиссия завершает свою работу. Её вывод – Шарон действовал правильно, в соответствии с обстоятельствами. Комиссия рекомендует сместить с занимаемых постов начальника генштаба Давида Элазара и командующего Южным Округом Шмуэля Гонена. Их противодействие Шарону, основанное на личной неприязни, вступило в противоречие с общими интересами. Насчёт политического звена – Даяна – комиссия высказалась не так определённо – «не предусмотрел... не догадался...».

В правительстве Рабина, сформированном после войны, место для Даяна не найдётся. Он кинется с оправданиями к Голде Меир. Но тщетно. До своего последнего дня она не встретится с Даяном и не простит никому из «тройки» 11-ти чёрных часов задержан у Горького озера.

Давид Элазар тяжело принял вынужденную отставку – обширный инфаркт прерывает его жизнь. Гонен становится военным советником где-то в Африке и умирает от разрыва сердца вдали от дома.

В 1978-м году президент Египта Анвар Садат прилетает в Иерусалим с предложением заключить мир. Он приглашает Шарона посетить его страну в качестве почётного гостя, предоставив в его распоряжение президентский самолёт.



ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

(к 150-летию со дня рождения)

Язык народа отражает его культуру, быт, эпоху. Что же касается еврейской литературы, еврейского этноса, то главенствующее место принадлежит личности и творчеству Шолом-Алейхема. Когда он начал писать, литература на идише была ещё юна и только начала набирать творческую энергию. Из крупных мастеров идишистской прозы прямыми предшественниками Шолом-Алейхема следует считать Менделе Мойхер-Сфорима (1835-1917) и Иццока Лейбуша Переца (1851-1915), которые приблизили представление читателей к проблемам и чаяниям еврейского народа в диаспоре.

Шолом-Алейхем начал публиковаться в «Еврейской народной газете» («Ди идише фольксблат»), единственной тогда на идише, сразу взяв себе псевдонимом обычное еврейское приветствие. (В переводе означает «Мир вам!», «Привет!»), подчеркнув им дружеское общение с читателем, который является вроде бы непосредственным участником его повествований. Шолом-Алейхем был его собеседником, он, как бы, пересказывал позабытую историю, участником которой являлся читатель. Этот доверительный тон вызывал симпатии не только у еврейских, но и у иноязычных читателей.

Хотелось бы напомнить некоторые моменты жизни и творчества писателя, которые способствовали формированию его личности и, в целом, явления, которое гордо именуется – Шолом-Алейхем. Его настоящее имя Шолом Нохумович Рабинович. Родился он в Переяславле Полтавской губернии в 1859 году. Детство его прошло в местечке Воронково. Здесь он учился в традиционном хедере, вникал в премудрости Торы. Только неудачи в коммерческих делах вынудили его отца возвратиться в Переяславль. Рано потеряв мать и получив в лице мачехи властного и нетерпимого к себе человека, он ощутил все тяготы тяжёлого детства. Правда, отец его, человек живо интересовавшийся новинками литературы на иврите и ев-

рейским Просвещением, заметив пристрастие мальчика к литературе, умело руководил его домашним образованием. Затем он отправил Шолема в русскую гимназию, которую тот окончил с отличием. С семнадцатилетнего возраста он начал заниматься репетиторством. Случайное знакомство помогло ему устроиться на работу к богатому землевладельцу Элимелеху Лоеву в пригороде Киева и давать уроки русского языка его единственной дочери – Ольге. Вскоре, между учителем и ученицей возникли взаимные симпатии. Однако, разрешения на брак Лоев не дал. И только в 1883 году Шодем женился на своей избраннице. Спустя два года, уже после смерти Лоева, он стал главой семьи и владельцем всего состояния тестя. С этого времени и начинается самый плодотворный период в жизни Шолом-Алейхема. Приняв псевдоним, он активно включился в литературную и коммерческую деятельность. Но неудачи при покупке биржевых акций привели его к банкротству, и он вынужден был скрываться от кредиторов за рубежом, пока теща не рассчиталась с его долгами.

Первыми произведениями писателя, обратившими на себя внимание литературного мира, были романы «Степеню» (1886), и «Иоселе-соловей» (1889). Они повествовали о реализации талантов легендарного скрипача и изумительного кантора, которые задались вопросом, уйти в большой мир искусства или оставаться дома, среди своих соотечественников и там добиться признания.

Но только в сборнике новелл-историй «Тевье-молочник» (1894 -1914) Шолом-Алейхем достиг вершины своего мастерства. Это было точное попадание в еврейскую читающую аудиторию, в еврейскую среду и мысли людей среднего класса. Здесь раскрылся его талант юмориста, словно говорящего языком простого обывателя. Собственные монологи Тевье, его рассуждения повторяют народную мудрость. Это не говорит о том, что автор спрятался за спину своего героя. Здесь чётко выражена позиция писателя, его философия и интеллект. Он наделил Тевье своим характером: уживчивостью, манерой прибегать к юмору при отторжении всякой агрессии..

Писатель связывает истории Тевье с сочинённой ранее повестью в письмах «Менахем-Мендль». Он вводит этого героя в качестве собеседника Тевье, противопоставляя их друг другу. Фантазёр и мечтатель Менахем «разохотил» Тевье, «заморочил ему голову всякими химерами, небылицами о шальных прибылях». Однако, Тевье реально смотрит на мир, оценивая ситуацию, в которой находится. В этом отразились творческие порывы Шолом-Алейхема, его оптимизм и нежное отношение к простым людям.

Во многих рассказах читатель встречается с большим количеством придуманных местечек и городов – Касриловкой, Злодеевкой, Елупцем и др. Но персонажи их, хоть и вымышлены, однако, сохраняют черты реально встреченных автором людей и географических мест. Особенно это касается

Касриловки. Долгие годы (1901-1916) Шолом-Алейхем черпал материалы, связанные с прототипами собирательного образа этого местечка. («Великий переполюх среди маленьких людей», «Касриловские погорельцы», «Новая Касриловка»...). Всё, что «висело в воздухе», непринуждённо легло под пером писателя на бумагу и стало достоянием читателей. В повести «Мальчик Мотл» нашёл своё отражение трагизм и глубокий лирический талант автора. Повествование он вложил в уста юного героя, рассказывающего о своих бедах, несправедливостях и маленьких радостях. В девизе писателя «Смеяться можно, врачи советуют смеяться» скрыта горечь и обида за маленького человека. Смех его – это вызов всяческим беспорядкам, бюрократии и надругательству над человеком, его помощь людям, – призыв, обратить на это внимание и проявить безбоязненно свои скрытые возможности. К жанру романа писатель не возвращался несколько лет. Только после революции 1905 года он завершил романы «Потоп» и «Блуждающие звёзды». Здесь уже отчётливо видны все достижения Шолом-Алейхема, его зоркий глаз, умение выделить главное в жанре романа, указать на взаимоотношения между героями, их жизнь на сцене и в быту. Лео Рафалеско, Спивак и Стельмах настолько различны, что симпатии и антипатии читателя определяются сразу и магически сопровождают его до конца романа. В России начался нелепо состряпанный процесс Бейлиса, имевший целью спровоцировать еврейские погромы, пышным цветом набирающий силу антисемитизм. Шолом-Алейхем откликнулся на эту волну своим романом «Кровавая шутка». В нём молодой русский студент обменивается паспортом со своим еврейским другом и в конце концов оказывается чуть ли не жертвой кровавой расправы.

Погром в Киеве и тяжёлое состояние здоровья вынудили писателя уехать навсегда в Америку.

Здесь, после длительного, но, увы, безуспешного лечения, он умер 15 мая 1916 года. Произведения его переведены на все европейские языки и выходили много раз огромными тиражами. Шолом-Алейхем – писатель мирового масштаба, он оказал большое влияние на творчество писателей многих стран, в первую очередь, еврейских. По его книгам сняты кинофильмы, поставлены спектакли и мюзиклы. Они вдохновили художников на создание больших иллюстративных циклов, станковых серий, керамических композиций и живописных полотен

ДО И ПОСЛЕ

новые переводы



НОРА ГАЙДУКОВА

С немецкого

ВЕРНФРИД ХЮБШМАНН

Из цикла «Катакомбы»

ПОСТЕЛЬ

Подушки симулируют холмы,
Нырнем с удовольствием, как в воду.
Раздеты и летаем ночью мы,
Себе позволив сладкую зевоту.

Звук приглушён, и в дремлющих ушах
Ритм кружит, позволяет повороты.
Сознание приглушенно давит страх,
Самоконтроль проделанной работы.

В игру включились колебанья. С кем?
Зависит кайф от временных контактов.
Тому, кто уж наполовину мертв,
Смерть не страшна с ее холодным тактом.

ТЕЛЕФОННАЯ КАБИНА

Как воздух отсырел в кабине разговорной.
Повсюду желтый цвет, контрастный и проворный.
Январь уныл и стыл, в молчании усталом.
Энергии турбин подземные провалы.

Бесплотный талисман на карте телефонной.
Сезам — услышь меня с волшебною картонкой.
Сначала тишина, потом сигнал протяжный.
Дыхания волна над трубкой безучастной.

Далекий город там, куда мои стремленья.
Спираль души моей, на острие сомненья.
Но вот раздался звук, сначала непонятный,
А после голос твой, какой сюрприз приятный.

С испанского

АЛЬФОНСИНА СТОРНИ

Из цикла «Семь колодцев»

ПЛОЩАДЬ ЗИМОЙ

Раздетые деревья толпятся вдоль дороги,
Бегущей к площади
С прозрачным эллипсоидным скелетом.
Шляпки кафе компактным окруженьем
В люминисцентном свете — желтый фокус.

Банки высятся как символ
Высших достижений человеческого духа,
Пульсируют их двери, впуская и выпуская
Эмигрантов, мечтой несбыточной согретых.

Застывшая колонна из бронзы
Внимает холодной музыке пространства.

Из цикла «Мир семи колодцев»

ОДИНОЧЕСТВО

Я бы могла бросить мое сердце
Выше этих черепичных крыш.
Мое сердце принимает космические
Сигналы, и больше его не видно.

Могла бы выкрикнуть мою боль
До того как мое тело распадется на части.

Могла бы остаться в водах этой реки.
Могла бы танцевать на этой площади
Черный танец смерти.
Ветер унес бы меня с этим танцем отсюда.

Могла бы выхватить сердце из моей груди
И сделать из него факел.
Свет ярче любой электрической лампы.
И за него не надо платить.

СТРАСТЬ

Одни целуют висок,
Другие целуют руки,
Третьи целуют глаза.
Многие целуют в губы.

В этом нет серьезных различий.
Мы же не Боги.
Чего ты хочешь?
Мы всего лишь люди.

Но когда-то приходит
Совсем особенный день.
В груди зарождается
Ощущение непомерной силы,
Которая может тебя уничтожить.

Это удар ветра
О мраморную колонну.
Твоя рука ласкает его спину,
Его рука ласкает твою грудь.

Касается твоей юбки,
И волшебные видения
Между вспышками света.
Красно-белые блики
На горящем лице.
Так сухие ветки вдруг
Расцветают...

РАИСА ШИЛЛИМАТ

*С немецкого***Вильгельм Шефер**

В. Шефер (1868 – 1951) родился в семье сапожника. Получил специальность учителя начальных классов.

Дружба с Рихардом Демелем стала поворотным моментом в его судьбе – он стал писать и публиковать свои произведения. Позже был дружен с Германом Гессе. Известен в основном короткими рассказами и анекдотами. Членом Национал-социалистической партии не был, но разделял их взгляды. Крушение режима переживал болезненно, что отразилось на его творчестве.

ГРАФИНЯ ХАТЦФЕЛЬД

Нельзя сказать, что европейские государи стояли перед сыном корсиканского адвоката, преисполненные мужской гордости. Некоторые не пренебрегали даже тем, что в щекотливые для них моменты позволяли своим жёнам выставлять напоказ их прелести. И делалось это не всегда из такой жестокой необходимости, как в случае с графиней Хатцфельд. Она пала к ногам императора по доброй воле – ради спасения мужа.

Граф Хатцфельд был, разумеется, не похож на героя¹, который сразу после битвы при Йене повелел гувернёру провозгласить берлинцам, что спокойствие должно быть первой заповедью для бюргера. Этому призыву он попросту не придавал никакого значения. Из его переписки с князем Хоэнлоэ-Ингельфинген следовало, что оба они – сторонники свержения государственной власти с помощью тайного политического заговора, и что они до последнего момента заняты как раз тем, что готовят почву для неприятностей новому властителю при европейских дворах. Одно из таких писем было перехвачено, и граф предстал перед военным судом, сам того не подозревая, в роли чуть ли не мученика за прусскую свободу.

Смертный приговор был уже зачитан, когда графине, стенойшей об отце детей своих, было позволено отправиться на аудиенцию во дворец.

Это был ветреный осенний день, государь собирался выйти на прогулку,

он был уже в шляпе и при шпаге, когда дама, охваченная страхом, преклонила перед ним колени.

Просительницы приходили к императору ежедневно, и он привык к этому. Ожидающий самого дурного из-за мелочности незадачливых интриганок и будучи заранее раздражён этим, он не дал ей возможности высказаться. На удивление, женщина не выпрашивала привилегий – она взывала к милосердию. Государь позволил ей встать с пола и самой прочесть письмо её супруга, вкратце объяснив, что содержание этого письма исключает всякую возможность помилования.

Бедная женщина взяла в руки аккуратно сложенный белый лист, цена которому – жизнь мужа. Император в это время беспокоенно, как потревоженный зверь, ходил перед ней из стороны в сторону, застёгивая перчатку. Руки графини так дрожали, что надрывали бумагу, а слёзы, струящиеся из глаз, мешали читать письмо.

Император, заложив руки за спину, по привычке остановился у камина и наблюдал за маленькими голубыми всполохами огня, которые вздрагивали поверх пышущих жаром углей...

В камине раздался лёгкий треск, и раскалённая искра, в мгновение ока выскочившая из пекла, описала дугу и погасла прямо у ног властителя. Государь инстинктивно отдернул ногу, облечённую в сапог из тонкой кожи – ногу, которая растоптала уже немало стран.

Женщине вдруг показалось, что искра угодила не в могущественный сапог, а в её несчастную голову. Она мгновенно пришла в себя: хладнокровно, неспешно подошла почти вплотную к камину, потом бережно, и почти торжественно возложила бумагу на язычки пламени...

Запылавшее письмо осветило ещё не высохшие от слёз глаза просительницы. Она со спокойной улыбкой взглянула в ошеломлённое лицо императора. Император не успел даже руку протянуть.

Властитель возрос вовсе не в окружении дипломатов – в его родных полях играли в игры, в которых бесшабашная храбрость являлась мерилем всего.

Задумчиво опустив глаза, не сказав ни слова, он галантно взял её руку – такую же маленькую, как и его собственная – и поцеловал её.

Графиня очнулась от порыва своей безрассудности и сообразила, что произошло, только тогда, когда она в сопровождении гвардейцев вышла на улицу.

Женщина была уверена, что император сердечно и как-то ободряюще-задорно улыбнулся ей, словно сестре.

¹ Примечание переводчика. Речь идёт о князе Фридрихе Вильгельме III, покинувшем город вместе с семьёй перед наступлением французов.

ДАВИД ЯНОВСКИЙ

С немецкого

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

* * *

Ночью во сне я плакал,
Мне снилось, что ты в могиле.
Я проснулся, и слёзы
Лицо моё оросили.

Ночью во сне я плакал,
Мне снилось, что ты ушла.
Я проснулся, и долго
Слеза за слезой текла.

Ночью во сне я плакал,
Мне снилось, что ты со мной.
Я проснулся, и слёзы
Текут до сих пор рекой.

* * *

Один на вершине голой
На Севере кедр стоит.
Он дремлет, покровом белым
Снега и льда укрыт.

Он грезит о стройной пальме
В далёкой стране Востока;
На раскалённой круче
Она грустит одиноко.

* * *

Беда угрожает, колокол бьёт
И ах! пошла голова моя кругом.
Весна и пара прекрасных глаз
Против меня сговорились друг с другом.

Весна и пара прекрасных глаз
Новым обманом сердце тревожат.
Я думаю, розы и соловьи
В сговоре этом замешаны тоже.

* * *

Тебя я любил, и люблю сейчас.
Рушится мир наш, я это знаю,
И из осколков мира как раз
Я огонь любви добываю.

* * *

Одни в почтовой карете
Всю ночь напролёт мы мчались.
Тесно прижавшись друг к другу,
Шутили мы и смеялись.

Как же мы удивились
При первых лучах рассвета! —
Третьим сидел меж нами
Амур, пассажир без билета.

* * *

Юноша любит девушку,
А девушка любит другого.
Другой этот выбрал другую
И жениться на ней дал слово.

За первого встречного замуж
Девушка вышла с досады,
И бедному юноше это
Сделало жизнь хуже ада.

Старая эта история
Новой всегда остаётся,
И если она случается,
Сердце на части рвётся.

* * *

Я вас покинул в прекрасном июле,
И вот в январе мы увиделись снова.
Тогда вы сидели на солнцепёке,
Теперь вы озябли зимою суровой.

Расстанемся мы, я вернусь и увижу:
Уже не замёрзнуть вам и не согреться,
И я прошагаю по вашим могилам
С моим несчастным и старым сердцем.

ФРИДРИХ РЮККЕРТ

* * *

Немало есть дорог, ведущих к Богу,
Найди и ты к нему свою дорогу.
Но не считай, что глуп и злонамерен тот,
Кто к той же цели, но другим путём идёт.
Всем, кто со мной пойдёт, я буду рад всегда.
А коль пойду один, — и это не беда.

* * *

Ты в колыбели, сын, давно уж не лежишь.
Ты сам себе глава! Как стелешь, так и спишь.
Есть крылья у тебя. Захочешь — полетишь.
На гору не взойдёт тот, кто мечтает лишь.
Не бойся трудностей, тогда и победишь!

* * *

Ты мне сказала сухо, как врагу:
«Любить тебя я больше не могу!»
Но с поцелуем ты добавила, смеясь:
«Ведь не могу любить я больше, чем сейчас!»

ФЕРДИНАНД ФРАЙЛИГРАТ

* * *

Люби, пока любить ты хочешь!
Люби, пока любить есть силы!
Ведь час придёт, ведь час придёт,
И ты заплачешь у могилы!

Смотри, чтоб сердце не остыло,
Храни любви огонь и сон,
Пока с твоим другое сердце
Любовно бьётся в унисон.

Тот, кто тебе откроет сердце,
Пусть станет ближе, чем родня.
Старайся, чтобы был он счастлив,
Чтоб в горе не провёл и дня.

Следи за тем, чтоб слова злого
Невольно не сказал ты в ссоре.
Некстати сказанное слово
Приносит другу много горя.

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ*С французского***ВИКТОР ГЮГО***Из лирических стихотворений***ВЕСНА**

Весна пожаловала. Упиваясь вновь
собой, даря апреля ароматы,
цветущий май, июньские раскаты, —
ну, словом, всю красу, что будоражит кровь,
осанку тополей, каштанов кроны,
цветов охапки, тень кустов влюблённым,
и перекличку птиц, и шелесты лесов, —
всё это нам подскажет темы для стихов.
Восход, что в сердце поселяет веру,
закат предупредит, что скоро будет ночь,
и небосвод, укрытый плёнкой серой,
пред тем, как дня черёд вот-вот умчаться прочь.

РУЧЕЙ

Ручей с горы стремится вниз
для встречи с бурным океаном.
Но огрызнулся тот гортанно:
«К чему тебе сюда нестись?»

Я бесконечен и могуч.
Твои мне капли неприметны,
Как ветерок пугливый летний,
меня игривостью не мучь!»

Ручей вздыхает: «Мой напев
в твой вечный грохот хочет влиться
и пресной угостить водицей,
и этим укротить твой гнев!»

НОЧНОЙ ИЮНЬ

В июне ночью расцветает луг.
Он небеса дурманит ароматом.
В дремоту всё укутано вокруг,
лишь шорохи приходят виновато,
да тени звёзд скользят едва-едва,
их небо преподносит нам подарком,
мы слышим их беззвучные слова.
Мазки зари под утро — как помарки.

ДЫХАНЬЕ НОЧИ

Дыханье ночи разбудило утро,
затмило чистый аромат цветов,
и птичьи трели проникают смутно.
Твои глаза игривым перламутром
красивее весенних облаков.

Мой робкий гений вдохновенно ищет
слова для гимна в этот поздний час,
вдыхая ночь, что краше дня и чище.
Прошу я помощи у звёзд, как нищий,
чтобы любовь не покидала нас.

С немецкого

РИХАРД ДЕМЕЛЬ

Из цикла «Берега спасаются бегством»

НОЧНОЙ БАЛ

Магия звуков,
Суетность танца, —
Сушая мука
В душном пространстве.
Здесь я с тобой повстречаться хочу.
Знаю, что здесь тебя нет, но ищу.
Рукопожатья,
Как диалоги.
Взгляды, объятья
Лживы, но строги.
Перетасованы, будто во сне, —
Чужды, нелепы — и все не по мне.
Жизнь тускнеет,
А ноги парят.
Руки, как змеи,
Ползут невпопад.
Вянет и сохнет цветочный букет.
Скис украшений загадочный цвет.
Сизым туманом
Звёздная крыша
Словно бы спьяну
Выше и ниже.
Хочется мне опуститься звездой,
Чтобы во сне повстречаться с тобой.

НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ

Позади остался день.
Закрывать глаза не лень.
Как свинцом налиты руки.
Вечер тяжесть прочь увёз.

Над кроватью танец звёзд,
Обгоняющих друг друга.

Ворвался сквозь стену стук:
«Дай убрать усталость рук».
На небе неразбериха.
Закрываются глаза,
Словно кто-то приказал.
Сон приходит чинно, тихо.

ГОЛОС ВЕТРА

Отдыха требует поле.
Под натиском ветра
Склоняются ветви.
Словно бы поневоле,
В удручающий мрак
Простынёю тумана
С тишиною дурманной,
Неожиданный страх:
Оглушительный шаг,
Как открытая рана.

ТОГДА

Ночь. Лишь дождь с водостока течёт
И ты слушаешь звуки снаружи.
Ты один. Только хлюпают лужи
И никто уже не придёт.
О, он всё же пришёл! Треплет штору.
Слышу, рядом он, здесь, у окна.
Только сердце часов ему вторит,
После — мёртвая тишина.

ЛЕСНОЕ БЛАЖЕНСТВО

Шум всё глуше и глуше,
Ночь затянула лес.

Ветви не прочь послушать
Песни ночных небес.

И поражён, как шоком,
Здесь, под ночной листвой,
Я — совсем одинокий,
Я — совершенно твой.

СПОКОЙНАЯ ПОСТУПЬ

Пылает осень. Вечер сер и мрачен.
Над сжатым полем испаренья дым.
Дороги полоса едва маячит.
И скоро ночь — мне возвращаться, значит.
Жук возле уха прожужжал свой гимн.
Наш гимн.

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

С немецкого

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ГДЕ?

Где найдёт упокоенье
странника — могилы сень?
Здесь, под липами на Рейне?
Иль — где пальмы дарят тень?
Может быть, зарыт в пустыне
буду я чужой рукой?
Иль у моря я остыну
и в песке найду покой?
Будет же меня повсюду
Божье небо обнимать.
Как лампы ночью будут
звёзды надо мной мерцать.

КУРТ ТУХОЛЬСКИЙ

МАТЕРИНСКИЕ РУКИ*

Хлеб нарезала ломтями
и кофе варила,
и гремела горшками,
и мыла, и шила,
и мела, и вертела...
Всё своими руками.

Молоко прикрывала,
нам совала конфеты,
 разносила газеты,
 счёт рубашкам вела
 и картофель скребла...
 Всё своими руками.

В час большого скандала
иногда подзатыльники
 нам раздавала.
 Нынче шестеро нас —
 было восемь — немало.
 Ты нас всех подняла...
 Всё своими руками.

Холодны ли, теплы —
руки всё хлопотали —
 так и старыми стали
 накануне разлуки.
 Вот, стоим пред тобой
 всею нашей гурьбой
 и твои гладим руки.

**Стихотворение написано Куртом
Тухольским на Берлинском диалекте*

БЕРТА ПАППЕНХАИМ

Любовь мне не дана —
Вот и живу растеньем
В подвале без окна.

Любовь мне не дана —
Вот и звучу, как скрипка,
Что без смычка — одна.

Любовь мне не дана —
Вот я и надрываюсь,
Работая без сна.

Любовь мне не дана —

Вот я и рада смерти,
Раз жизнь так не полна.

*27 февраля 2009 года исполнилось 150 лет
со дня рождения еврейской социальной
деятельницы и защитницы прав женщин
в Германии Берты Паппенхайм (1859 – 1936)*

С польского

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

У ПИОНОВ

Цветут пионы розовым и белым,
Внутри цветков – душистые кувшины,
Где жизнь бурлит и каждый занят делом –
Жучкам привольно жить там, в сердцевине.

Мама, над клумбой с пионами стоя,
Дарит махровому прикосновенье
И пристально смотрит в его просторы,
В которых годами длится мгновенье.

После цветков отпускает и мысли
Вслух своим детям она поверяет.
Ветер колышет зелёные листья,
Крапинки света на лицах играют.

СОЛНЦЕ

Цвета рождает солнце, не имея
Особого, единственного цвета.
Земля цветной поэмой голубеет –
Художник-солнце дарит ей рассветы.

Кто хочет рисовать цветною землю,
Тому смотреть на солнце – путь опасный:
Глаза в ожоге красок не приемлют,
Сквозь слёзы не увидят мир прекрасным.

Пусть он пред солнцем преклонит колени
И в отражения лучей взглянется.
И заиграют краски, свет и тени,
И мир цветным в картинах отразится.

ПАМЯТИ БОРИСА ЧЕРЕПАШЕНЦА (1923 – 2009)

Умер наш коллега, друг, близкий и дорогой Человек, Борис Абрамович Черепашенец.

Горько сознавать эту утрату..

Кристально-чистый и честный, не допускавший лжи и лицемерия, никогда не сказавший ни о ком дурного слова.

Несмотря на свой возраст, подтянутый, аккуратный, с неизменной доброжелательной улыбкой.

Борис Абрамович относился к тому поколению людей, которые едва окончив среднюю школу к началу Великой Отечественной войны, сразу были брошены на передовую и приняли на себя первые бои с неприятелем.

Мало кто из его сверстников остался жив, но ему судьба сохранила жизнь.

Он никогда не забывал своих однополчан, до мельчайших подробностей помнил солдатские дороги и всё, что было связано с войной. Душа его до последних дней была ранена этими четырьмя годами, пережитыми в юности. Боль утрат никогда не покидала его и была для него священна.

После войны он окончил Московский Авиационный институт, прошёл путь от рядового инженера до руководителя отдела.

В 1993 г. вместе с дочерьми и их семьями приехал в Берлин. Здесь стал посещать Литературный и другие клубы. В 1998 году, в альманахе «Берега» опубликован его первый рассказ «Пахомчик». Военная тема, как, впрочем, и во всех последующих его рассказах, правдиво и точно отражает военные действия и редкие будни того времени. И в литературных альманахах «До и после» регулярно публиковались его рассказы, которые с большим вниманием принимались читателем, как и его выступления на литературных вечерах и презентациях. Ни в одном из них не было пустой демагогии, «литературщины», только правда и искренность изложения. Они документально рассказывают о подвиге солдат, их патриотизме, чести, верности присяге и долгу.

Мы скорбим! Вечная Вам память, дорогой Борис Абрамович!

*Авторы Альманаха, члены Клуба литературы
и искусства при Трэффункте «Хатиква»*

О Г Л А В Л Е Н И Е

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Михаил Эненштейн	5
Леонид Бердичевский	12
Анжелла Подольская	22
Генриетта Ляховицкая	35
Давид Яновский	40
Марк Шейнбаум	43
Карл Абрагам	46
Альберт Леин	48
Игорь Коган	55
Любовь Рейнгач	61
Борис Мильштейн	66
Елена Зельгер	69
Михаил Верник	74
Инна Иохвидович	84
Вениамин Палагашвили	94
Геннадий Гуревич	99
Светлана Видерхольд	103
Вера Фёдорова	105
Станислав Львович	108
Семён Лурье	113
Валерий Матэтский	118
Нора Гайдукова	125
Евгений Сафьян	129

Михаил Танов	135
Ася Прощо	137
Евгений Денисов	140
Татьяна Устинская	142

ПУБЛИЦИСТИКА, ЭССЕИСТИКА

Давид Яновский	145
Мина Полянская	149
Карл Абрагам	159
Марк Шейнбаум	167
Борис Кунин	173
Алесь Эротич	177
Генриетта Ляховицкая	186
Михаил Гордин	189
Леонид Бердичевский	196

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Нора Гайдукова	200
Раиса Шиллимат	203
Давид Яновский	205
Леонид Бердичевский	209
Генриетта Ляховицкая	214
Памяти Бориса Черепашенца	218

צִיּוֹן תִּפְתָּח, צִיּוֹן תִּקְרָא תִי,
לְדַבֵּק שִׁמְרָחֹק הוֹמִיָּה.

